

# ВРЕМЯ ШМБТ 99 1987

ОГОНЁК

ПЕРЕСТРОЙКА КАК ПОЭТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА



# **ВРЕМЯ и МЫ**

---

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*Тринадцатый год издания.*

Выходит один раз  
в два месяца

**99**  
**1987**

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1987

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**  
**ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**ВАГРИЧ БАХЧАНЯН**  
**ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ**  
**ДЖОН ГЛЭД**  
**АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН**  
**ЛЕВ НАВРОЗОВ**  
**ГРИГОРИЙ ПОЛЯК**

**ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН**  
**ИЛЬЯ СУСЛОВ**  
**МОРИС ФРИДБЕРГ**  
**ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ**  
**ЕФИМ ЭТКИНД**

Израильское отделение журнала «Время и мы»  
Заведующая отделением Дора Штурман  
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала «Время и мы»  
Заведующий отделением Ефим Эткинд  
Адрес отделения: 31 Quartier Boiedieu, 92800  
PUTEAUX, FRANCE

## **СОДЕРЖАНИЕ**

ПРОЗА	
<i>Павел КОПП</i>	
Из воспоминаний Бойцового Петуха.....	5
<i>Петр МЕЖИРИЦКИЙ</i>	
Крещатик поверженный.....	61
ПОЭЗИЯ	
<i>Григорий МАРК</i>	
Убийцы за правое дело.....	93
<i>А.ЛЕИН</i>	
Всплески рассвета.....	98
ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА	
<i>Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН</i>	
Парадокс Горбачева.....	105
<i>Лев НАВРОЗОВ</i>	
Запад выходит напрямую к гибели.....	127
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
Эссе о говорящей России.....	152
<i>Владимир ШЛЯПЕНТОХ</i>	
Палачи и жертвы.....	163
ТОЛСТЫЕ ЖУРНАЛЫ В ЭПОХУ ГЛАСНОСТИ	
<i>Елена ГЕССЕН</i>	
Битвы «Нашего современника».....	175
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
<i>В.ХОДАСЕВИЧ</i>	
Горький за границей.....	191
<i>Александр ГАЛИЧ</i>	
Прощальный ужин.....	224
ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»	
<i>Александр ЩЕДРИНСКИЙ</i>	
Гобелены Риты Гехт.....	232



Павел КОПП

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БОЙЦОВОГО ПЕТУХА

### НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ

*В конце 1986 года мой брат, Павел Владимирович Копп, 1894 года рождения, решил, что пришла пора выслать мне свои воспоминания о прошлом. Он отправлял их почтой в письмах, успел послать 15 писем, два из которых пропали где-то в пути. Тут я и сама в мае 1987 г. появилась в Союзе по туристической путевке и увезла в Америку на себе, боясь таможенного досмотра, солидный мешочек с «Воспоминаниями Бойцового Петуха». Этим странным именем прозвали моего брата, одного из компании озорных мальчишек, живших в начале века в захолустном местечке юга Украины — Никополе.*

*Как же случилось, что у меня теперь 53 письма, в том числе и два недоставленных? Опасаясь, что не успеет переслать все, брат весной 1987 года заготовил письма впрок, собираясь оставить их своей дочери, чтобы она пересылала мне каждые пять дней, — даже соответствующие даты проставил. Писал он на одном дыхании, без помарок и черновиков, вновь пере-*

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© «Время и Мы»

ISSN 0737-7061

живая прошлое и получая от этого радость. Это помогало избавиться от одолевавшей его тоски. Как он сказал мне, он не только видел живыми людей, о которых писал, — он слышал их голоса, как будто они находились в одной с ним комнате. В его списке жителей старого Никополя более 700 фамилий.

В мае 1988 года брату исполняется 94 года, если дотянет. Он все еще юн духом, один из немногих, сохранивших веру в «светлое будущее». Но, думается мне, жизнь заставляет несколько померкнуть эту веру. Может быть, в этом причина его ностальгической тоски по прошлому, которой проникнуты «Воспоминания Бойцового Петуха».

Физически Павел Владимирович сейчас в плохом состоянии. Подкосила его потеря единственного сына в 1980 году, а в 1985-м — спутницы жизни, с которой прожил он более 70 лет. Женился 19-летним юношей, для чего ему пришлось креститься, нанеся этим страшный удар нашему отцу. Став и сам отцом, он учился на медицинском факультете Одесского университета, а жена работала на селе.

Гражданская война застала брата на польском фронте.

В Никополе он работал бок о бок с отцом, широко, не только на Украине известным врачом-универсалом. В 1932 году переехал в Одессу. Потом — война, добровольный уход на фронт, контузия, ранение...

Главный врач Одесской железной дороги, он обитал многие годы в развалюхе, которую снимал в убогом районе — на Слободке. Приезжая летом в Одессу, я наблюдала жизнь, про которую не зря армянское радио спрашивало: «А есть ли жизнь в Одессе?» Из служебных поездок по району привозился, например, на спине мешок с картошкой. А уйдя на «заслуженный отдых», в 5-6 часов утра он уже стоял в очереди за молоком, чтобы к 8 часам оно было в доме.

Но и в этих условиях он продолжал писать. Так, в 60-х годах я положила на стол издательства «Советский писатель» рукопись его исторического романа «Камбиз» на 100 печатных листов. Рукопись попала на рецензию к Георгию Шторму, историку и писателю, и он дал о ней блестящий отзыв, но просил сократить и писал, что после сокращения роман можно рекомендовать к печати.

Задачу по сокращению мне пришлось в то время взять на себя и довести роман до требуемого размера в 25 печатных листов. Но вторичный рецензент, некто Резник, рукопись «зарезал», найдя в ней идеологию, несозвучную «генеральной линии партии»! (А Шторм, видно, проморгал!)

Переделывать «Камбиза» брат не стал и через несколько лет сжег рукопись, а единственный чудом уцелевший экземпляр недавно отослал в Днепропетровский исторический музей, в память своего учителя, Дмитрия Ивановича Яворницкого, когда-то взявшего подростка за руку и познакомившего с музой Истории.

Людам брат помогал всю жизнь. И как когда-то стекались к нему за врачебным советом со всей Екатеринославщины, из Таврии, из Херсонской губернии, из-под Николаева и Бог весть откуда, так появляются и теперь в скромной квартирке на одесских Черемушках. И это не знакомые земляки (их почти никого уже нет на свете), а дети и внуки тех земляков, только слышавшие о Коппах и узнавшие, что жив еще «молодой Копп». Воистину, все дороги жизни берут начало в прекрасной стране детства. Воспоминания Павла Владимировича Коппа об этой «прекрасной стране» мне и хочется преподнести читателям.

Зинаида КОПП

...Несмотря на мафусаилов возврат, я жаден до жизни и готов постоять за ее чистоту, за правду и справедливость в отношениях между людьми.

Но Боже мой, сам себе не верю! Рука ли 92-летнего старика только что это написала? Не угомонился, видно, бес, с детских лет непокорный, своевольный дух, живущий во мне всю мою долгую жизнь. Живучий, неумирающий Бойцовый Петух. Едва вылупившийся из яйца в никопольском курятнике, уже принявшийся радостно приветствовать восход солнца и гул жизни, задирает человеческий птичник, бить шпорами и клювом.

С вершины лет видна мне оставшаяся позади дорога жизни. Не по чистому и ровному полю пролегла она, а местами по кочкам, оврагам и пропастям. Лежит она, моя дороженька, позади, лежит в мечтах, в молодых песнях, в миражах счастья, в следах житейских битв, в растерянных перьях Бойцового Петуха...

Никополь, ушедший в прошлое, исчезнувший, растворившийся во времени, никогда не был беден крысами. Здешние крысы вели свою родословную со времен севастопольской кампании 1855 года, а отдельные их представительницы — с куда более ранних времен нашествия древних персов Дария в скифские края; ясное дело, Никополь им полюбился. В конце же 90-х годов, словно взволнованные тем, что добрый к ним XIX век уходит, а новый XX, Бог его знает что принесет, откуда-то нагрянули в Никополь несметные полчища крыс. Их воинственные орды буквально заполонили городок и захватили в нем все ключевые позиции на базаре, в магазинах и складах, в хлебных амбарах, в бане, в больнице, в жилых домах, на сеновалах, в конюшнях и коровниках. Всюду расселилось и пользовалось радостями жизни на своих бивуаках крысиное войско, и нигде оно так не стало господином положения, как в избранной пришельцами столице — во дворце купца Ханукова, где обосновался сам крысиный царь Теодорих, старая, совсем седая крыса, ведущая свой царский род от крыс, появившихся на страницах Истории в незапамятные времена. И у Хануковых с одолевавшими их грызунами шла бесконечная жестокая война, по длительности обещавшая сравняться со столетней войной людей с людьми. Крысы были агрессорами, Хануковы защищались, вели войну справедливую с целью изгнания оккупантов со своей территории, но вели эту войну с применением средств запрещенных и пользуясь отсутствием в городке Общества защиты животных. Что и говорить, еще много дремлет жестоких инстинктов на дне темной человеческой души!

Неподалеку от базара у Хануковых был магазинчик, где продавались соль, подсолнуховые семечки и керосин, — лавчонка маленькая, неказистая на вид, но оправдывавшая сказанное о ней грузчиком Оверком: по наруже хибаркой

зовут, да в середке цена ей золота пуд. Лавчонка обеспечивала весьма сытую жизнь семьи Хануковых, и еще оставалось детишкам на молочишко. А во дворе дома со стенами, что пушкой не прошибешь, где жили Хануковы, прочно утвердился, словно вот-вот продавит землю своей гигантской тяжестью, высокий каменный склад. В одной его половине, чуть ли не до потолка, была навалена и плотно слежалась соль, в другой — тоже чуть ли не до потолка — лежала гора семечек.

В соли крысы прорыли многочисленные норы, а пировать отправлялись в соседнее помещение, где к их услугам был обильный бесплатный стол.

Однажды во время краткого солнечного затмения, выскочив отовсюду, крысиное население мгновенно сплошь покрыло хануковский двор живым ковром, так что ноге негде было ступить. Зоолог, специалист по грызунам, мог бы у Хануковых солидно пополнить свои знания, изучая здесь крысиные повадки, нравы и привычки. Презрев людей и свет дня, крысы нагло путешествовали по двору медленным шажком или бегали неторопливой рысцой, а иной раз проносились, как молния, прыгали, отчаянно дрались и пищали. Двор на короткое время пустел, когда над ним, как тень бесшумно, появлялся ястреб, но затем все опять принимало прежний вид. Играя, целыми кучами вываливались крысы из-под курятника, и так продолжалось до позднего вечера, и всю ночь двор кипел.

Крыс нещадно давили хануковские собаки, а было их семь штук, в их числе знаменитый на весь Никополь крысодав Брукс, чемпион и рекордсмен по линии истребления крыс. Крыс излавливали и коты, и трудно было решить, кто держит пальму первенства — коты или собаки.

Котов всех цветов и расцветки постоянно охотилось во дворе не меньше десятка, порой и два — хануковские крысы привлекали их со всех ближайших улиц. А однажды я узнал одноглазого плута Барсика с мельницы старухи

Шор, находившейся на другом конце городка. Хануковы уже и не различали, где в общей куче свои коты, а где чужие.

Кот, шествующий с крысой в зубах по кирпичной ограде, отделявшей двор от улицы, в моей памяти остался как эмблема, как герб хануковского замка. По этой обычной картинке кота с крысой в зубах на ограде всякий приехавший в Никополь к Хануковым человек несомненно мог бы узнать нужный ему дом, не обременяя вопросом прохожих.

Но война с крысами, еще более упорная, велась и людьми.

Жившие в подвале приказчики, открыв внезапно по нескольк раз в день тяжелые двери склада, бросались поочередно к стоявшим в одном и другом помещении десятичным весам. Один приказчик держал наготове поднятую над головой палку, другой рывком наклонял весы. Из-под весов тотчас бурей выметались десятки крыс, и палка с большим или меньшим успехом пускалась в ход.

10-15 убитых таким образом крыс за день считалось весьма скромным результатом; пяток штук — черным днем; когда же число жертв приказчичьих палок переваливало за 25, Хануков премировал приказчиков шестикопеечной пачкой папирос.

Нашей братии, индейцам-охотникам, Хануков платил по копейке за положенную к его ногам пару мертвых крыс. Немало крыс положил к ногам Ханукова удачливый Бойцовый Петух. Конфеты (на копейку 5 штук), мятные и медовые пряники, шоколадные шарики с сюрпризиками внутри куплены были в немалом количестве, и всему этому богатству Бойцовый Петух был обязан верной рогатке и никогда не изменявшему другу — луку.

Наша пятерка усердно соревновалась на охоте за крысами, а количество дичи, сколько ее ни били, к нашему удовольствию, нисколько не убавлялось, несмотря на применявшиеся Хануковым всякие хитроумные выдумки.

Норы в соли забивались цементной массой с осколками стекла, но крысы неизменно прогрызали себе другие выходы из своего соляного города и плевать хотели на

цементные затычки. Крыс травили всевозможными отравками, забрасывая и засовывая отравленные лакомства в норы, но после двух-трех солдатских потерь крысиное войско быстро соображало, в чем дело, и в дальнейшем самые вкусные отравленные деликатесы оставались нетронутыми. А между тем гроза крыс — кот-сибиряк Васька стал жертвой одной из отравленных колбасок, и это повергло в уныние Ханукова, но и ожесточило.

Разведка в армии крыс организована была великолепно. Поэтому крысы не густо шли в западни и капканы, в разные хитро устроенные крысоловки; разверстые пасти смертоносных машин большей частью торчали открытыми, покрывались пылью да ржавчиной.

В помещениях склада на сковородах зажигали серу, заполняя склад едким синим туманом, и наглухо забивали щели в дверях. Но крысы в этом случае где-то благополучно и терпеливо пережидали, пока людям надоест их пустейшая затея.

— Сибирского вам здоровья, кавказского долголетия! — вытирая усы после рюмки водки, крикнул призванный на помощь в борьбе с крысами ветеринар Перепада. И дальше глубокомысленно изрек:

— Если бы найти средство, так сказать, уничтожить на крысах всех до единой блох, следовало бы, так сказать, распространить среди ваших крыс чуму. А без чумы, — закончил не очень-то красноречивый ветеринар Перепада, — с этими поганцами ничего не поделаешь.

С этими словами он поплевал на поданную ему рублевую бумажку, засунул ее в жилетный карман и переступил через порог выходной калитки.

Тогда военный совет приказчиков большинством голосов (против голоса приказчика Саши, в сердцах ушедшего, хлопнув дверью) по совету мясника Левки решил так: выжечь дьяволов! И тут же приступили к делу.

Изловленных крыс хвостовой половиной погружали в керосин, затем подносили к какой-нибудь норе в куче соли,

поджигали и выпускали — в одну, в другую, в третью нору. Крысы-факелы моментально скрывались в недрах соли, дальнейшее же предоставлялось фантазии зрителей, которых набиралось десятка полтора.

Горящие крысы несомненно сеяли панику в соляном городе, но тревога поднялась не только там. Три дня подряд благополучно проделывали эту штуку, а на четвертый испуганный, с глазами, как блюдца, прибежал сосед, столяр Тышлер. У него в сарае, сообщил он Ханукову, из-под деревянного пола почему-то идет дым. Господин Хануков — человек почетный в городе, и жена у него из хорошей семьи, так не знает ли он, отчего бы это сделался дым?

Хануковские приказчики помогли соседу сорвать в сарае пол и затушить тлевший там мусор, а поджигание крыс пришлось прекратить.

Тогда пустили в ход другую выдумку. Ее порекомендовал сельский лавочник из Томаковки, толстенный боров, покупавший у Ханукова соль и семечки для своей лавки.

Рецепт был таков: поймать крысу и сбросить в пустую железную бочку без крышки. Прогрызть бочку пленница не сможет; какой бы ни была прыгуньей, выбраться на волю также не сумеет. После нескольких прыжков в высоту крыса утихомирится. Три-четыре, до пяти дней ей ни черта не давать жрать: за дни этого поста крыса так изголодается, что готова будет отгрызть себе хвост. Тогда бросить пленнице крысенка или молодую крысу. Голодная пленница тотчас же набросится на гостью и сожрет ее. Потом пленнице опять прописывается четырех-пятидневный пост, затем дают насладиться крысенком. Следует новый пост, после которого в бочку ввергают обыкновенную взрослую крысицу. Начнется в бочке отчаянная борьба, но остервеневшая от голода пленница, как правило, осилит. Если же победит и загрызет пленницу вброшенная особь, то она сама превратится в пленницу и взамен побежденной сама сделается объектом воспитательной работы. Так или иначе, после того, как крыса, чередуя голодовки с пир-

шеством, съест несколько себе подобных, крысоед готов. На воле чудовище уже ничего, кроме крыс, жрать не будет. Теперь выпускайте созданного вами крысиного волка и ждите последствий. Вот будет цирк!

Говоря с Хануковым, при последних словах, потирая руки, осклабился боров, и смеющиеся его глаза превратились в щелки.

Таков был совет борова, и так и поступили хануковские приказчики. В трех железных бочках из-под керосина они терпеливо воспитали крысоедов и при стечении порядочного количества любопытных выпустили своих воспитанников в соляной город.

Боже, что там поднялось! Пока на свирепых тварей накинулись и загрызли их соплеменники, чудовища успели вызвать в лабиринте тоннелей здоровую панику. Испуганные крысы выскакивали, метались, пищали, носились как сумасшедшие по двору. Но что же? Возможно, что некоторая часть крыс и бежала из опасного места. Однако, крыс было слишком много, и паника оказалась кратковременной. Вскоре соляной город перешел к обычной жизни, а его обитатели к очередным делам.

Трижды приказчики выращивали в бочках крысиных волков, и трижды в соляных джунглях происходило одно и то же: сначала поднималась паника, а потом все возвращалось к исходному состоянию, и жизнь шла своим чередом по регламенту, установленному мудрым крысиным царем Теодорихом.

В конце концов стало ясно: средство томаковского борова, возможно, годится для какой-нибудь небольшой крысиной колонии, но оно совершенно неэффективно, когда имеешь дело с густонаселенной, мощной крысиной державой в нашем хищном мире с его законами борьбы за существование в природе. В борьбе Ханукова против Теодориха явно вырисовывалась ее бесперспективность для Ханукова. И тем не менее ожесточенная война продолжалась.

Кроме собак, котов, приказчиков и нашей пятерки добыт-



чиков копейки за пару крыс, участвовал в истреблении грызунов еще один персонаж — истреблял крыс старый дед Карпо, служивший у Хануковых сторожем. Был он сед как лунь, лыс, как коровье вымя, глух как пень, угрюм, сизонос и еле передвигал ноги в пудовых сапожищах.

Прикрыв осоловевшие глаза темными очками от солнца, с всегда полуоткрытым ртом, дед Карпо не спеша направлялся к крысоловке, где металась пойманная крыса. Повертев крысу за хвост, он хватал ее оземь и потом наступал на жертву своим сапожищем. Сопя сквозь густые белые усы, он затем деловито вновь налаживал крысоловку.

\* \* \*

Вот так-то! Все вышеописанное происходило в самом начале XX века после рождения кротчайшего из богов и его проповеди человечности в людях. В самом начале XX века, робко появившегося, словно стыдясь своего прихода в мир, где, как и 19 веков назад, в человеке сохранилось еще много звериного, еще много сохранилось голодных и бездомных на планете, униженных и оскорбленных, угнетенных и горюющих, жертв насилия и жестокости, в незримых цепях на руках и ногах. Все это спустя много, много времени с часа, когда прозвучали для людей слова Сократа, Галилея, Томаса Мора, Спинозы, Шекспира, Шиллера и, позже, Толстого и Маркса. И еще больше от описанных подвигов деда Карпо и хануковских приказчиков прошло с того часа, когда человек сбросил с плеч звериную шкуру и приобщился к тому, что мы называем человеческим обществом и человеческой культурой. Ушел от троглодитов и пришел к Пушкину, Глинке и Академии наук.

К сожалению, эта мысль тогда нашу компанию жизнерадостных недоумков не занимала. Однако для целей рассказа не это важно. Для целей рассказа гораздо интересней факт: казня крыс и принося пользу Ханукову сапогами, дед Карпо причинял Ханукову определенный вред руками, потихоньку уничтожая котов.

Дед Карпо любил нюхать какой-то особенный загра-

ничный табак, а на беду этот табак стоил недешево и был деду Карпо не по карману. Дед Карпо не дурак был и выпить, особенно по праздникам, когда каждый третий никопольчанин был под кнаком. И что всего важнее, дед Карпо нашел, что для ежедневного потребления, как он говорил, ему для нутра пользителен коньячок, продававшийся в бакалейном магазине Железнякова, а коньячок ложился тяжелой гирей на восьмирублевый дедов месячный бюджет. Вот дед Карпо и нашел выход из положения. Он завел себе петлю-удавку и принялся ловить котов и — на чердак. Там, вдали от глаз людских, не преступая заповедей господних, на сей предмет запрещения не содержащих, свои жертвы вешал, обдирая, и шкурки продавал скорняку-меховщику Фурману по 15 копеек за штуку. Тушки дед Карпо собирал в мешок и, по его словам, бросал в Днепр, скармливая сомам.

Все это он проделывал с постоянством хорошо налаженной машины, но в конце концов машина дала осечку. К концу лета по городку поползли слухи, что в некоторых заезжих дворах останавливающихся там на ночевку людей — крестьян, мещан из уезда и всякого рода маклеров — кормят кроличьим мясом, которое еще недавно бродило по крышам, мяукало да ловило крыс в крысином государстве у Ханукова. Назревали драматические события и, бегая от соседа к соседу, сбивались с ног Лосиха с Чмелихой в трепотне языком. Кто с удивлением, а кто и косо, стали люди посматривать на самого Ханукова. И вот нарыв лопнул.

Кто-то заявил полиции, и ранним утром куча мальчишек и не меньше сотни взрослых людей повалили в один из постоянных дворов, куда прошли околоточный надзиратель Сиволябин с городовым. Люди пришли посмотреть, как полиция будет расправляться с хозяином двора, стариком Грицем, за кормление людей кошатиной.

— Проверим, — сказал Сиволябин собравшейся толпе. — И только молчать, чтоб я и звука не слышал, а то я вас знаю: сейчас же целый кагал поднимете! Так смотрите у меня!

— А ты, Марчук, — обратился Сиволябин к городовому, — стой тут и никого не пускай.

С этими словами околоточный, тяжело ступая по ветхим ступенькам деревянного крыльца, вошел в дом.

Проверял Сиволябин долго, и стояли мы перед крыльцом долго. Наконец нагнув голову, чтобы не расшибить ее о низкую притолоку, и еще доковыривая в зубах зубочисткой, вышел околоточный на крыльцо, повернул направо и налево бульдожьей физиономией, обвел исподлобья суровым взором ожидавших его людей, вынул руку из внутреннего кармана тужурки, куда перед этим наверняка кое-что засунул, стряхнул крошки с груди, погладил щетину усов и коротко бросил:

— Расследованием не подтвердилось.

Помедлил немного и рявкнул:

— Разойдись!

Грузно ступая, спустился с крыльца и сквозь расступившийся народ пошел по дальнейшим своим полицейским делам, распространяя за собой легкий водочный запах.

— Р-разойдись! — заорал Марчук, и все гурьбой повалили прочь.

Знает только чарка полная

Как поладили они, —

пропел я хлопцам. — Завтра же возмездие хабарнику за такое расследование! Он еще и с Ханукова сдерет, так как у деда Карпо, кроме того, что на нем, взять нечего. Но не мешает, ей-Богу, и деду Карпо всыпать. Хабарнику Сиволябину и деду Карпо — обоим всыпать!

— Яичницу, — предложил один.

— Электрическую побудку! — сказал другой.

Мы стали в сторонку и принялись обсуждать план действий. Пospорили. Победила электрическая побудка Сиволябину, и все взоры обратились на меня, признанного отличного организатора и неплохого исполнителя такого мероприятия. И я тут же стал обдумывать, как и что.

Допрашивал ли Сиволябин деда Карпо? Это осталось не-

известным. Застать на месте хануковского сторожа было легко: дед Карпо если не сторожил, то спал, а если не спал, то сидел на табуретке в своей каморке, читая вслух по складам огромную с иллюстрациями книжицу «Жития святых» издания Святейшего Синода и проливая слезы над горькой судьбой страстотерпцев.

Вот делалось! Там люди выпускали кишки не крысам, а людям, и жгли не только хвостовую часть туловища, но и головную, морили голодом в железных бочках, терзали и рвали человеческое мясо раскаленными щипцами. Деды Карпо были в те времена еще почище наших — в особенности в царствование Ашшурбанипала, Синахереба и древнеегипетских Рамзесов.

Кому невыносима мысль о мучениях любого живого существа, тому остается лишь сокрушаться пробелу в издании книг о животных-страстотерпцах. Несомненно, такая книга пополнила бы наше представление об истории развития культуры человеческого общества. А между тем, дедов Карпо можно найти и сегодня. И не только где-нибудь за тридевять земель от нас, а даже у нас, в нашей стране, спустя 70 лет после Октября. И эти наши сегодняшние деды Карпо как две капли воды похожи на того, кого я знал когда-то, в начале века, и кто давно уже истлел.

Тот дед Карпо был старик богомольный, и тогда по наивности и простоте душевной я считал маловероятным, чтобы он пошел на обман и богопротивное дело кормления людей кошачьим мясом. А мой отец и учитель Левин посмеивались.

— Ты наивный теленок! — сказал отец. — Этот же самый Сиволябин когда-то рассказал мне, что в Москве, на Сухаревке, в трактире, заказав мясное блюдо, чуть зуб себе не сломал о кусочек ошейника. А в трактиршике, прибежавшем на поднятый шум, узнал богомольца, рядом с ним, Сиволябиным, усердно лепившего свечи в часовенке Иверской Божьей Матери. А ты говоришь, дед Карпо религиозный, не мог...

Я был смущен.

К рассказанному должен в целях объективности добавить, что опустошение среди котов, производившееся дедом Карпо, ничуть не уменьшило их количество. При всем старании дед Карпо не мог нарушить равновесия между котами и крысами, установившееся в никопольской природе. Как только произошло нашествие крыс, коты в городке принялись усиленно размножаться. Крыс было неисчислимое количество, но и резерв котов в городке стал неисчерпаемым. И равновесие иной раз нарушалось в пользу котов. В таких случаях пушистые охотники заполняли хануковский двор, и явная опасность грозила голубятне с ее двумя десятками любимцев детворы. Когда к этому приходило, Хануков, бывало, вызывал к себе приказчиков и отдавал распоряжение наловить котов и вывезти подальше за город. Приказчик Саша, чудесный малый, иногда веселый мастер рассказывать всякую бывальщину и небывальщину, но чаще замыкавшийся и уходивший в какие-то свои думы, в больших мешках — в каждом по доброму десятку котов — выводил изгнанников на речку Соленую, где и выпускал.

На другом берегу неширокой речушки находилось имение немца Зудермана. В числе прочей живности там постоянно расхаживали холеные породистые кохинхинки и простецкие нашинские хохлатки, те и другие с выводками цыплят. Если проголодавшиеся коты хоть из одной привезенной Сашей партии переправились через Соленую, немцу Зудерману нельзя было позавидовать. Впрочем, с тех пор произошло много иных, для Зудермана более важных событий, положивших конец не только царству кохинхинок и хохлаток, но и царствованию их хозяина, который впоследствии в числе других Зудерманов смотался за пределы нашей страны в свой фатерланд.

\* \* \*

С электрической побудкой Сиволябина получилась чепуха, она сорвалась. Но сначала несколько слов о побудке.

В те времена от наружной кнопки электрического звонка

не бывало внутренней проводки в дом. По крыше домика здесь же, на улице, тянулись два изолированных провода и исчезали под дверной притолокой. Операция побудки производилась так: один участник становился на спину согнувшегося напарника, дотягивался до притолоки, оголял там один провод, перерезал другой, присоединял верхний конец перерезанного провода к оголенному и — готово! Понятно, в доме звонок начинал безостановочную деятельность. Удрав во тьму, оба участника операции наблюдали за тем, что воспоследует. А следовало всегда одно и то же: в одном из окон загоралась лампа, поднималась суета в доме, появлялась спешащая через комнаты фигура со свечой в вытянутой руке, открывалась наружная дверь, и полуодетая фигура выглядывала на улицу. Звонок, естественно, продолжал трезвонить. Где же было спасение? Если догадываются, разбуженные люди заткнут до утра взбесившийся звонок щепочкой. И в это время тревоги в доме пара маленьких хунвейбинов в темноте улицы, ликуя, бесшумно исполняла воинственный танец.

Продельвалось это часа в два ночи, когда оба имевшихся на наших улицах ночных сторожа, не выпуская из рук колотушек, уже выводили носом трели, прислонившись к столбу какого-нибудь хлебного амбара.

Кроме меня, участие в побудке Сиволябина выпало нашему союзнику из племени литинчинят — Медведю из Дакоты. Но Медведь из Дакоты был страшным соней, и мне пришлось его разбудить. Жил Медведь на соседнем дворе, и, обходя его дом, я увидел открытую коридорную форточку. Ничего лучшего и желать нечего было, и я немедленно этой форточкой воспользовался, чтобы попасть в коридор. Однако Линда, плюгавая комнатная собачонка, не узнав меня, возмутилась такому способу вхождения в дом, возвысила до высочайших нот свое пронзительное сопрано и проделала со мной то же, что проделывал Шайтан с нашими врагами, — вцепилась в меня, да так, что я еле отцепил паршивку от своего зада.

Между тем на Линдино soprano во дворе послышалось ответное, все приближавшееся собачье контральто. В ту же минуту комнаты осветились, зашлепали босые ноги, послышалось старческое покашливание, и мне пришлось пулей вылететь таким же путем, каким влез в коридор.

Прибежав домой, я разбудил няню, и пока няня набрасывала на себя юбку, набрал из баночки в папином кабинете немного ксероформенной мази. Однако няня посоветовала мне ксероформенную дрянь выбросить вон, а лучше приложить к ранкам капустный лист и паутину. Сейчас же она сходила в погреб за капустным листом, в дровяном сарае набрала паутины, приложила к ранкам и затащила бинтом. Мне она велела лечь спать, сама же водрузила на нос редко надевавшиеся очки и принялась штопать и замывать белье и штаны, чтобы родители ничего не узнали.

Когда утро погасило фонари на земле и на небе и первые женщины с Лапинки и с Довгалевки пошли на базар, а за ворота своего дома вышел, зевая, сосед Барянин, чтобы посмотреть направо и налево, улица, дом Довгалевских и соседний, где жил Медведь из Dakoty, продолжали свою мирную неторопливую жизнь.

Родители так ничегошеньки и не узнали. Садился я на краешек стула, а когда мама делала мне по этому поводу замечание, я усаживался как примерный мальчик, мужественно перенося боль и только думая о том, каково же пришлось Остапу Бульбе, когда ему ломали кости на площади в Варшаве? Тут брат, не линдочкиными зубами пахло!

В этот же день по всему местечку разнеслась весть, что и наш городок уже стал равняться на большие города и даже на Америку с ее преступностью — в коридор к жильцам в доме Лазаревой добирались воры, а может быть, и убийцы, но собачка спасла. Люди ходили смотреть на форточку, на Линду, и родителям Медведя из Dakoty много раз пришлось повторять свой рассказ, демонстрируя место ночного происшествия.

Чмелиха и Лосиха заработали вовсю. Они даже точно знали, что бандитов было четверо, что были они приезжими

из Кременчуга, двое из них были высокими, а третий говорил в нос. Расходились Лосиха и Чмелиха только в описании наружности воров. Лосиха, кроме того, уверяла, что воры удрали в Мелитополь, так как у одного из них там живет тетя его двоюродной сестры, которая танцевала на свадьбе у Пратусевича, который женился на Софочке Бочковой, хотя приданое было чепуховым... Чмелиха же все это категорически отрицала.

Давным-давно уже нет в живых никого из семьи Медведя из Dakoty, о собачонке же и говорить нечего — собачий век короток. Лет десять назад чуть видных два белых шрама от линдочкиных зубов еще виднелись у меня на теле, напоминая мне о друге детства, о его Линдочке и о случившемся в то время происшествии. Теперь и этих шрамов нет. А поскольку Сиволябин, нагло поправший справедливость, возмездия ночной побудкой избежал, именно тогда, мне кажется, впервые мрачновато я стал смотреть на жизнь иной раз и вывел для себя печальное заключение: бывают в нашем мире случаи, когда порок торжествует, а добродетель наказывается. И, представьте, впоследствии не раз в жизни в этом убеждался.

\* \* \*

Я осуждал изгнание котов, наших верных союзников в войне с крысами, но все же поехал однажды с приказчиком Сашей, когда он в очередной раз получил распоряжение вывезти избыток котов из хануковского двора в степь. Мне потому захотелось поехать, что я знал: Саша ездит в места, мне малознакомые, лежащие в стороне от наших охотничьих маршрутов, — мы охотились на бизонов в других прериях за цепью курганов.

Выехав за Высокую Могилу, при свете дня терявшую свою ночную таинственность, мы с Сашей покатали богатырской равниной с там и сям попадавшимися неглубокими овражками. В некоторых, по обе стороны дороги, чернели зеркальца грязи, совершенно подобной лиманной. Одна за другой мелькали немецкие колонии со своими вытянутыми в

нитку улицами, с близнецами-домиками, крытыми красной черепицей.

Колонии очень отличались от наших украинских сел. Все здесь было иным, явно не украинским: выстроившиеся по ранжиру дома, аккуратные садики с палисадничками, и колонисты в их немецкой одежде, словно снятой с плеч бюргеров средневековой Германии, и немки с поджатыми губами, без единой улыбки на сухом, бесстрастном лице с холодным и упрямым взглядом неласковых глаз, и тяжелые столбы глухих ворот, охранявших вход в эти цитадели размеренного немецкого бытия, отгородившегося от остальной нашей страны с ее юдолью жизни и собственной судьбой. Даже собаки, не в пример нашим, не гнались с лаем за нашей подводой. Свернувшись калачиком и прикорнув возле ворот, одними только глазами они следили за нашей подводой и сквозь дрему думали свои собачьи думы.

Дальше пошла степь да степь, местами еще в ковре, затканном прозеленью, но большей частью вся в желтом и желто-багряном убранстве близящейся осени да в золотой щетине стерни.

А с высокого скалистого берега р. Соленой, как на ладони, по ту сторону реки виднелась усадьба Зудермана: большой дом, службы и сад. В последних лучах солнца рдела крыша дома. Среди купы деревьев застыла журавлиная шея колодца. Миром и покоем веяла степь, и такие же мир и покой лежали на видневшихся строениях и саде.

Мы подъехали к самым скалам, откуда в надвигавшихся теплых сумерках заречные дали поверх густой синевы уже алели полосами могучего заката. Саша развязал мешки и выпустил котов. С растерянным видом они разбежались во все стороны и пропали в траве.

Тут, на Соленой, мы решили заночевать. Саша распряг лошадей, стреножил их и пустил пастись на воле, а мы сами примостились у подводы на брезенте, брошенном на траву,

Земля была теплая. Яркий воздух уже мерк. Хотя день еще не ушел, но уже загорелась первая звездочка и робко тепли-

лась в вышине, а под ней луна, вечная небесная странница, показала свое бледное лицо.

Кузнечики уже умолкли. Все степные пигалицы тоже убрались по своим гнездам почивать. Только с невысоких гряд, поросших желтой августовской травой, неслись прощальные «пить подай» перепелов и последнее, под сурдинку, на сон грядущий, заплаканное пичикато какой-то пташки, заканчивавшей прошедший день.

Лошади хрустели вегетарианскими блюдами, а мы с Сашей развернули скатерть-самобранку и принялись за более существенную еду.

Поужинав, повели нескончаемую беседу о разных разнос-тях. В эти тихие часы мы с Сашей наговорились. Переби-рали нашу никопольскую жизнь. Посмеялись над злоключе-ниями пьяной Рожковши, как гоголевский Каленик, искав-шей свой дом и с пьяных глаз заснувшей в соседском сви-нарнике; порассуждали на тему о том, лучше это или хуже, если у человека один глаз зеленый, а другой голубой, как, например, у одного никопольского мальчика, поспорили, кто самый сильный человек в Никополе и кто самый бога-тый, и у кого лошади лучше — у извозчика Лымаря или у извозчика Зайца, и кто одолеет, если стравить чебанского пса с бульдогом, и сколько времени самое большее можно пробыть под водой, нырнув в Днепр с крыши купальни, и есть ли люди на Луне, и за сколько времени мог бы доле-теть до Луны человек, если бы у него были крылья, и еще много о чем переговорили.

Среди беседы, вспомнив о вчерашних событиях, я рас-хохотался.

— Что это тебе вдруг стало смешно, Петух? — спросил Саша.

Но не мог же я открыть тайну нашей пятерки и потому скрыл истинную причину напавшего на меня смеха.

— Да вот, — еще смеясь, ответил я Саше, — вспомнил, как лошадь Дымуры понесла и передок повозки отделился от задка. Лошадь умчала этот передок под гору, задок же вмес-

те с сидевшей в нем Дымурихой повиялял на двух колесах туда-сюда и свалился в канаву. Дымуриха везла с Лапинки макотру сметаны. Как только лошадь рванула, так Дымуриха и села в сметану. Представляешь картину?

Картина действительно была комичная, но сейчас передо мной вставала совсем не эта картина. Накануне среди белого дня с высокого забора казак Голота и я таки угостили Сиволябина парой исключительно тухлых яиц. Я — не совсем удачно, в подбородок, но зато казак Голота угодил своей вонючей гранатой прямо в яблочко скулы.

Давно уже не поднимался в городке такой шум.

В этот день папа, видимо догадываясь о виновниках проделки, за ужином искоса посматривал на меня. Но я молчал, старательно трудясь над запеканкой и не поднимая глаз от тарелки.

Вдова-белошвейка Зингер, заподозрив сына Мишку, драчуна и босяковатого малого, в причастности к произошедшему, напустилась на него, потом кричала на весь двор:

— Ой, люди добрые! Мишка меня в могилу вгонит, чтоб я так жила! Он добьется, паршивец, что евреям-таки устроят погром! Как вам это понравится? Ему, паскуднику, очень было надо квасить харю Сиволябину?

Собравшиеся соседи внесли свою лепту в обсуждение вопроса. Страсти кипели. Об этом донесли Сиволябину. Вечером он послал за белошвейкой Зингер городского, и спустя короткое время встревоженная женщина, запыхавшись, предстала пред светлые очи начальства.

— Подойди ближе! — злобно процедил околоточный. — Ты слышала о Сибири?

О Сибири белошвейка Зингер не только слышала — мысль ее часто летала туда, так как неподалеку от Якутска сиротливо жался к другим могилам засыпанный снегом могильный холмик ее мужа, сосланного в глушь сибирских просторов в 1900 году.

— Ты слышала о Сибири? — вторично прохрипел Сиволябин.

Сибири белошвейка Зингер не испугалась. Вытирая пот со лба, спросила:

— А за что Сибирь, господин начальник?

— За что, спрашиваешь? За что, жидовская морда? — грозно спросил Сиволябин. Он тяжело поднялся из-за залитого чернилами, запаскуженного, никогда не знавшего тряпки канцелярского стола и подошел к белошвейке.

— Это твой пащенок устроил мне пакостный бенефис? — поднес Сиволябин кулак к ее носу.

— Господин начальник! — плачущим голосом ответила белошвейка Зингер. — Сначала я тоже так думала, но оказывается, мой сын не принимал участия в яйце. Чтоб я так жила! Уже потому он не мог принимать участия в этом деле, что в 3 часа дня, когда все с вами происходило, он с еще одним балбесом, чтоб им обоим за это ударило по кишкам, залезли в погреб к невестке Фене и съели столько, что неизвестно, куда в них влезло, чтоб у них кишки присохли! Невестка Феня — эта та, которая торгует семечками, и все ваши городовые ее знают, так как пользуются ее семечками, — так она там застучала этих шмендриков, и дай мне Бог столько здоровья, сколько она обоих отхлестала туплей по щекам и била головами о стенку погреба. Горе мое, а не сын! За погреб Фени я ему еще приложу. Я женщина слабая, а сын, слава Богу, уже жеребец. Поэтому я попрошу соседа, красильщика Мушабера, чтобы всыпал ему ремнем. Это я сделаю, чтоб я так жила! А насчет яйца ищите другого паскудника, мой сын ни при чем.

Другой паскудник еще не скоро осудил себя за содеянное. Прошло с пяток лет, прежде чем пакостник признал бессовестным унижение человеческого достоинства такими делами. В тот же тихий предвечерний час на р. Соленой этот пакостник смеялся, и ему было хорошо. То есть так хорошо, что лучше быть не может; если бы его тогда спросили: «Что нужно тебе для полного счастья, Бойцовый Петух?» — он не знал бы, что ответить.

В течение жизни мне много раз приходилось ночевать в

степи, но эта ночевка на берегу р. Соленой запомнилась почему-то ярче всех других. Быть может, потому, что детство имеет свои законы психической жизни. Как бы ни был степной ветерок напоен сладким благоуханием — и тогда, когда он обвеивает лицо мальчугана, и тогда, когда он касается усов взрослого, — воспринимается он неодинаково: взрослый человек в той или иной мере уже ушел от природы.

\* \* \*

Раскаленные полосы заката стали уже тускнеть, когда из травы неожиданно выскочила легавая собака и скорым марафонским бегом прочесала неподалеку от нас с Сашей.

— Пегаска! — сказал я, узнав пойнтера фельдшера Штамбурга. Всех собак наших улиц я знал наперечет.

Услышав свое имя, Пегаска остановилась и оглянулась на нас, но сейчас же ринулась дальше.

— Сейчас пожалует и Яков Григорьевич, — добавил я.

И действительно, не прошло и минуты, как мы имели удовольствие увидеть хозяина Пегаски. Он подъехал на бесшумно катившихся дрожках. Красавец-конь, подобных которому доселе я не видывал, картинно стал как вкопанный.

Но Яков Григорьевич был не один. Когда дрожки остановились, с Яковым Григорьевичем сошел не первой уже молодости мужчина в зеленой охотничьей куртке, перепоясанной патронташем, в таких же зеленых брюках, заправленных в сапоги, в кепке с большим козырьком, надвинутым чуть ли не на нос и затенявшим каштанового цвета бородку и усы.

— Охотились! — с завистью бросил я Саше, увидев на дрожках пару двухстволок, ягдташ и сетки, битком набитые дичью.

Не доходя до нас нескольких шагов, Яков Григорьевич вынул руки из карманов, вытянулся в струнку, как-то внушительно напыжился, по-рачьи выпучил глаза и рявкнул:

— Встать! Его императорское высочество великий князь Николай Михайлович!

Мы поднялись, и я растерянно взглянул на Сашу.

Якова Григорьевича Штамбурга прекрасно помню, но воспоминания о нем детских лет моих как-то сливаются с более поздними, потому что Яков Григорьевич прожил по количеству лет, я бы сказал, две человеческие жизни. Он скончался 5 ноября 1961 года в возрасте полных 99 лет, не дотянув до сотенки каких-нибудь полтора месяца. С его кончиной ушла в прошлое целая эпоха, ибо Яков Григорьевич был последним отправившимся в мир иной медиком из небольшой их кучки, подвизавшейся в Никополе в конце XIX и в начале XX века.

Натура мелкая, без широкого кругозора, но тем не менее цельная и колоритная, попади Яков Григорьевич в поле зрения Гоголя сегодняшних наших дней, не миновать бы ему увековечения среди героев новых «Мертвых душ». Но не попал он в поле зрения никакого нового Гоголя (да их что-то и не видно у нас). Поэтому-то Яков Григорьевич и прожил безвестно и ушел из жизни бесследно. Можно не сомневаться: пройдут немногие годы, и Яков Григорьевич навсегда растворится в небытии — там же, где в такой точно безвестности пребывают безымянные миллиарды ушедших из жизни людей. Памяти о них не существует. А жаль. Портрет Якова Григорьевича так и просится на полотно и в книгу. Если человек — царь природы, то в какой степени это правильно для Якова Григорьевича?

Что же собой представлял Яков Григорьевич? Более самоуверенного, ни в чем не сомневающегося, ограниченного и пустого так называемого интеллигентного человека в ограниченном и пустоватом никопольском мирке того времени я не знаю (год 1903-й).

— Что делал ты, человек, на Земле? — вероятно, спросил Якова Григорьевича святой ключарь при входе в царство небесное.

— Все перечислить, апостол, или только главное?

— Все, все, — по-стариковски проворчал Св. Петр. — Все выкладывай, а уж мы тут сами разберемся, что главное, а

что второстепенное. Итак, валяй — что делал на Земле?

— Дышал, ел, пил, извергал остатки, спал с женой, прочих не считал, ездил на охоту и играл в карты... Да, чуть не забыл: прошел 18250 раз из дому в больницу и обратно.

— Водку пил?

— Обязательно.

— Какие книги читал?

— Книжки? Что-то не помню. Нет, не грешен, не читал.

— Так. Ну, что же еще в жизни делал?

— Да много ли успеешь за 99 лет, отче?

— А вот ты как! — загремел Св. Петр, рассердившись. — Вот на какую ерунду убил целых 99 лет! Пушкин прожил 37, Лермонтов — 27, а что успели! Эй, в тартарары его!

И полетел там, вероятно, Яков Григорьевич в тартарары.

До самого конца жизни Якова Григорьевича никакие бури житейские, даже революция, не смогли вырвать из никопольской жизни могучие корни Якова Григорьевича, как они вырвали с корнем много других крепких дубов и расшвыряли их по всей стране, а некоторых и вовсе убрали из жизни.

Как и положено дубам, Яков Григорьевич жил себе да жил. Кругом редел старый лес, и уже много тех, с кем Яков Григорьевич общался, протирал брюки на стуле за ломберным столиком, спилил уже неугомонный Дровосек, а он все не попадался на глаза Дровосеку, жил себе да жил, пока не засох, исчерпав жизнь по непреложному закону природы, гласящему: все, имеющее начало, имеет и конец — изъятий из этого закона нет.

Все сказанное побуждает меня посвятить этому моему земляку несколько страниц, чтоб не ушел он под флер черного тумана и не покрывлся холодным пеплом времени.

Яков Григорьевич, фельдшер земской больницы, был из числа людей, чья наружность полностью соответствует их внутренней сущности, их внутреннему миру. Вид он имел мужиковатый, да и в обращении с людьми иной раз был грубоват. При надобности очистить нос никогда не прибегал

к носовому платку, а, никого не стесняясь, для этой цели довольствовался крепкими своими перстами, что в городке, хоть далеко в то время не представляло исключения, но постепенно уже выводилось. На другой же день после знакомства говорил людям «ты», на третий был уже запанибрата и мог выругать; в разговоре с приятелями и с партнерами по картам, случалось, вставлял непечатное словцо.

Детишки робели и притихали в его присутствии, и было чего им испугаться при взгляде на физиономию Якова Григорьевича с грозно нахмуренным лбом, с длинными шелковистыми снопами усов в молодые годы, затем превратившимися в почти закрывающий рот пучок свисающей черной мочалки, с маленькими, но зоркими и на охоте и за картами глазками, стреляющими из-под мохнатых бровей.

Говорил Яков Григорьевич коротко и безапелляционно. Его голос, отрывистый, гулкий, словно выходящий из пустой бочки, и в то же время какой-то сдавленный, представлялся каскадом звуков боу-боу-боу!

Ходил Яков Григорьевич, ничего не пропуская своими острыми глазками-буравчиками и словно принюхиваясь к чему-то, как охотничий пес, еще не напавший на след дичи, но наверняка знающий, что дичь тут где-то затаилась. Злые языки называли его барбосом.

Однако, по общему мнению, Яков Григорьевич был отличным, безобиднейшим, незлобивым человеком, никому в жизни не сделавшим зла. Раздумывая над этой оценкой его СЕГОДНЯ, в наши дни воспитания в людях и требования от них качеств борцовских, элементов бури и натиска, что СЕГОДНЯ и делает человека отличным, мы просто обязаны отметить отсутствие даже намека на эти качества у Якова Григорьевича.

Вот он весь: для нужд тела Яков Григорьевич с довольно большой прохладцей занимался фельдшерским делом, а душе посвящал все остальные нехитрые свои помыслы, заполняя дни охотой, а вечера — картами. Картежником Яков Григорьевич был заядлым, ведущим в городке профессо-



ром игры в преферанс и винт, страстно любил и азартные игры. Охотником был опытейшим, как никто знал охотничьи угодья, изобиловавшие дичью, любил ездить по округе, где помещики и хуторяне принимали его с расprostертыми объятиями. Возвращаясь из поездок, Яков Григорьевич неизменно привозил уйму дичи, а в бумажнике, украшенном затейливой монограммой, солидный карточный выигрыш. При этом от Якова Григорьевича, ощущавшего полноту жизни и при входе в больницу обычно вполголоса напевавшего песенку из «Веселой вдовы», всегда слегка пахивало коньяком.

Так и бежали годы нашего старожила, нехитро скроенного, но ладно сшитого Якова Григорьевича Штамбурга.

Как думал он сам и как считали почти все его сограждане, имел он и брал от жизни все, чтобы по праву считаться счастливейшим из смертных: спокойную работенку, красавицу-жену, украшавшую своим присутствием его скромное жилище, отличнейшую двухстволку, необыкновенных качеств охотничью собаку, безмятежное душевное спокойствие — словом, жизнь без терниев и шипов стлалась перед ним голубой дорогой, и ничто не омрачало его существование, ничто не беспокоило.

В жену Якова Григорьевича, правда, вечно кто-нибудь по уши был влюблен, но только издали и безнадежно, а приближаться к ней никто не смел — свирепые усы, грозные брови и серодитое боу-боу мужа отпугивали всякого вздыхателя, обреченного только облизываться при виде аппетитной бабенки, как говорили о супруге Якова Григорьевича, вздрагивая ноздрями, местные мышинные жеребчики — жуиры и бонвиваны.

Двухстволка Якова Григорьевича считалась охотниками лучшей в Никополе и, как и жена, тоже вызывала зависть. С собакой же вышло маленькое недоразумение. Подарил ее Якову Григорьевичу еще щенком помещик Христофоров, помешанный на чистопородных и густопсовых собачьих аристократах, настолько обожавший своих любимцев, что

его батраки завидовали счастливой собачьей доле. Но увы, песик Пегас, привезенный Яковым Григорьевичем домой, при ближайшем рассмотрении оказался особой женского пола. Это, конечно, был удар. Но Яков Григорьевич легко вышел из положения: понятия не имея о мифическом Пегасе, крылатом коне древнеэллинского бога Зевса, Яков Григорьевич в простоте душевной переименовал Пегаса в Пегаску, этим самым имя собаки приведя в соответствие с полом.

По свойственному ему благодущию и счастливому характеру, дававшим возможность без желчи реагировать на мелкие недоразумения и неприятности, Яков Григорьевич не распалился гневом на Христофорова, втрухнувшего ему сучонку, долго и не огорчался, а только проворчал по его адресу:

— Люди — не цветы: благоухания от них не жди.

Из этих слов Якова Григорьевича видно, что при всем его благодущии, при всей жизнерадостности — большего оптимиста где было и сыскать? — к сожалению, и он, подобно менее счастливым по характеру людям, по временам впадал в легкую мизантропию и неверие в человека.

Однако не мог Яков Григорьевич долго смотреть на мир через черные очки. Так было и в данном случае: через пять минут его недовольное боу-боу по адресу Христофорова зазвучало опять, как обычно, без тени раздражения.

Необыкновенным счастливцем ценители душевного покоя могли считать Якова Григорьевича еще и потому, что, как очень многие фельдшера всех времен и народов, он не знал раздумий и мучительных сомнений при лечении больных, не видел сложности в течении болезней, не затруднял работу своего мозга, по его выражению, всякой ерундой; диагноз заболевания никогда для него затруднений не представлял, ну а лечение и подавно. Абсолютно все и всегда было для него просто и ясно — все равно что разбить яйцо и бросить его на сковородку для изготовления яичницы. Осмотр больного производил он бегло, диагноз

заболевания ставил моментально, наставления больному давал категорично, безапелляционно, отрывистым боу-боу, из каких, впрочем, состояла его речь и во всех остальных случаях жизни.

Да и о всех материях рассуждал он с одинаковым апломбом — даже там, где о сути вещей имел самые смутные, порой совершенно извращенные понятия. Он открывал перлы никому не известных истин не только в области медицины, к которой имел хоть какое-то касательство, но и в сфере чуждых как ему, так и большинству никопольчан, астрономии, этнографии, истории, математики, литературы, музыки, химии, физики и прикладных технических наук.

Слова, произнесенные с апломбом, всегда заставляют простодушных и доверчивых невежд снимать шляпу перед новоявленной истиной и перед ее первооткрывателем. Поэтому оценка личности Якова Григорьевича была в городке достаточно высокой. Когда он проходил по улице, пять-шесть человек, бывало, всегда смотрели ему вслед с почтительным шепотом: — Вон Яков Григорьевич пошел! — Популярная в городке личность, он буквально не успевал отвечать на приветствия встречных. Это доставляло Якову Григорьевичу немалое удовлетворение, ибо, надо сказать, он не принадлежал к числу тех, кто считает, что слава — дым. Он в равной степени гордился Никоподем, никопольчанами, собой, своей женой, своей двухстволкой и своей Пегаской.

В могучую силу прописываемых Яковым Григорьевичем лекарств больные верили свято, видя несокрушимую уверенность в этой силе самого Якова Григорьевича, — а ведь это в медицине даже и сегодня едва ли не самое главное. Оно и будет у нас самым главным до тех пор, пока останется незыблемым горькое признание древнего Гиппократы: медицина иногда излечивает, чаще облегчает и всего чаще утешает.

Как и некоторые медики в наши сегодняшние дни, Яков Григорьевич без тени сомнения считал выздоровление

больных естественным следствием своего лечения, смерть же больных сваливал на несовершенство человеческого организма. Видимо, такой подход некоторых медиков к данному вопросу наилучшим образом предохраняет их от терзаний души и укоров совести — наблюдение давнее, открытием сие написавшего не является.

При таком подходе к вещам душевный покой Якова Григорьевича, естественно, никогда не нарушался. Спал он крепко, и ночами ничьи тени, грозя пальцем, к нему не являлись. Отсутствию нервных переживаний, столь обычных у медиков, болеющих душой за своих пациентов, и обязан был, вероятно, Яков Григорьевич своим долгожительством.

— Он прошел свой жизненный путь как дай Бог каждому, — сказал в своей прощальной речи на похоронах Якова Григорьевича один из опускавших его в могилу, подтвердив этим самым истину: кому мало дано, с того мало и спросится.

Много ли было дано нашему Якову Григорьевичу? Круг его чтения состоял из изучения листков отрывного календаря да пробегания на сон грядущий через пятое на десятое журнала «Нива».

Первое требование высшей практической мудрости Яков Григорьевич выполнял неукоснительно: крылатых мечтаний не знал, никуда дальше болота с куликами и десяти без козыря его вожделения не простирались. Но, к сожалению, он ни в чем не сомневался и голову ни над какими проблемами не ломал, об улучшении жизни не помышлял, а принимал ее такой, какой она была, не мудрствуя лукаво, не осуждая ее недочетов и не ища от них лекарств. Царь для него был до скончания века царь, крестьянин — крестьянин, фельдшер — фельдшер, рабочий — рабочий. Каждый занимал раз и навсегда отведенное ему место в иерархии профессий и должностей, и это было не добром и не злом, а просто было — так же, как в природе существует все, что существует. Православный молился кроткому Иисусу, турок — кровожадному Аллаху и его мечу Магомету, еврей — су-

ровому Иегове, рабочий работал от зари до зари, а помещику положено было распорядиться своим временем иначе; на уток осенью патроны лучше было набивать дробью № 6 и семь пик нужно было объявлять с известной осторожностью. Так вот по Якову Григорьевичу был устроен мир, и так ему и быть впредь на вечные времена. Думать иначе — фанаберия.

Так вот и жил Яков Григорьевич — вроде всю жизнь безмятежно сидел и дремал, как рыболов с удочкой на берегу реки. И была без пятнышка его легковесная мещанская жизнь и эпикурейский взгляд на бытие, если бы не маленькая слабинка, не небольшой грешок, водившийся-таки за Яковым Григорьевичам. Как и многие охотники, не во гнев им будь сказано, наш Яков Григорьевич любил прихвастнуть и приврать, делая это не всегда тонко, иногда же просто гораздил несусветную чушь. Однако же и чушь гораздил с непререкаемым апломбом и грозно хмуря брови, если замечал усмешку, змеившуюся из-под усов кого-либо из собеседников.

— Ври, да знай же меру, Яша! — не выдержав, скажет ему, бывало, кто-нибудь из добрых приятелей. В таком случае добряк в бутылку не лез, а делал самое умное, что далеко не все умеют делать, — на секунду сконфузившись, замолчал. Но если не встречал открытого недоверия и если его терпеливо, а тем более с интересом слушали, мог он дойти в своих рассказах до геркулесовых столбов и посрамить барона Мюнхаузена. Так однажды он, споря с помещиком Бельченко о достоинстве и пределе собачьего нюха, расхвастался необыкновенно чутким нюхом у своей Пегаски. Невероятно, заявил он собеседнику, но факт. Он положил-де убитую утку на верхушку трубы мукомольной мельницы мадам Шор, куда с трудом взобрался на пари. И что же? Когда он затем прошел с Пегаской по улице, перед мельницей его умница сделала стойку.

Была в Никополе того времени передовая молодежь, чей лозунг гласил: вперед, и только вперед! Нечего стараться

ремонтировать старый мир — надо его заменить новым!

Носители этого призыва со своим вожаком Лазарем Литинским, задиристые, полные боевого духа молодые люди, шагавшие вперед люди будущего, устремленные далеко за грань века, а уж за грань никопольского мирка и говорить нечего, на жерновах своей пылкой молодости безжалостно перемалывали Якова Григорьевича, к чему и грузчик Оверко немало руку приложил. Есть, говорили они, древняя восточная поговорка: колодезные лягушки не знают об океане. А что такое Яков Григорьевич, как не большая колодезная лягушка, чья жизнь и мысли не выплескиваются за пределы никопольского колодезного сруба? И что знает эта лягушка об океане жизни с его кипением страстей и противоборством добра и зла? Сидит себе в никопольском колодце и поквакивает. На это и уквакивает жизнь.

Обижаться на такое нелестное о себе мнение Яков Григорьевич не мог: он был далеко не единственным человеком, по которому прохаживалась железная щетка слова никопольской радикальной молодежи. Что эта щетка была ключей, резкой, огненной и не останавливалась перед тем, чтобы причинять боль, тоже находилось в порядке вещей, — эта радикальная молодежь выросла на дрожжах Герцена, Чернышевского и Маркса, на добродушие и мягкость людей не нацеливавших.

Не одно поколение должно прийти и уйти, говорили наши никопольские радикалы, прежде чем выработается человек с большим размахом мысли. Много еще на свете хилых мыслями людишек, всю жизнь гниющих заживо в своих домашних норах. Много Яковов Григорьевичей, тлеющих под равнодушным небом. Ничего, революция придет и выполет эти сорняки! Пустит их под откос, на свалку Истории как ненужную ветошь.

\* \* \*

Так вот, этот самый Яков Григорьевич рявкнул:

— Встать! Его императорское высочество великий князь Николай Михайлович!

Мы с Сашей поднялись.

О великом князе Николае Михайловиче, на чьей земле мы с Сашей в тот вечер, собственно, находились, дома у нас говорили как о белой вороне в черной стае Романовых. Он был ученым-историком, единственным, как у нас в семье считали, человеком с умом среди пустых носителей титулов, звезд, орденов, густых эполет и широких лент.

Мне он в тот вечер показался задумчивым, даже мрачным. Как раз за два дня до этого я услышал от отца, что среди историков и литературоведов вновь поднялись старые сомнения в подлинности «Слова о полку Игореве», неизъяснимую прелесть которого я уже смутно почувствовал в свои 9 лет. При появлении Николая Михайловича меня подмывало спросить, что он думает по этому поводу. Но мрачное лицо князя, резко вычерченное на фоне белесого, становившегося все темнее неба, и моя собственная робость остановили меня. Я стоял и переминался с ноги на ногу перед дядей царя, босяк-босяком: босой, в руке засаленный, помятый, с поломанным пополам козырьком старый солдатский картуз Оверка — словом, я был в костюме, почему-то именовавшемся нашей братией французским. Хорош он был тем, что в нем я чувствовал себя отменно: можно было, не заботясь о его сохранности, лазить по деревьям, валяться где угодно и на лоне природы вести себя совершенно непосредственно, не затрудняя себя условиями цивилизации.

— Подержите лошадь, пока мы с его высочеством пройдем к Соленой, — пролаял Яков Григорьевич.

Саша тотчас подошел и взялся за недоуздок, а князь с Яковом Григорьевичем медленно направились по тропинке к берегу, находившемуся в двух шагах. Нам отчетливо был слышен завязавшийся между ними разговор.

— Не перехвалите меня, ваше высочество, — слышалось боу-боу Якова Григорьевича. — Я действительно стреляю недурно, но что я? Знал я одного парнишку, только пришел с военной службы. Вот это был стрелок! Поглядеть

— извините, ваше высочество, за грубое слово — сопляк, а дай револьвер в руки — артист, бог! Раз мы с ним побились об заклад. Я укрепил на стене двойку пик ребром и с десяти шагов пулей перерезал пополам. А он, подлец, приладил на доске столовый нож лезвием вперед и с пятнадцати шагов разрезал пулю о лезвие. Что ж вы думаете, ваше высочество? Выковыряли мы из доски обе половинки пули и взвесили. Обе половинки оказались одинаковыми, ни на волос одна не была тяжелее другой!

— М-да, — ответил князь, — исключительно искушенный стрелок. А вы обратили внимание, — слышался голос князя, — на необыкновенное количество здесь кошек? Я насчитал двенадцать и считать бросил. Прямо кошачья свадьба. Но, насколько я знаю, в определенный период кошки не бегают на манер собак.

— Точно так, ваше высочество, кошек, можно сказать, здесь изобилие. Да ведь и перепелов здесь — не провернешь! Идешь по траве и прямо-таки ногой с дороги их отшвыривай, так и лезут, так и лезут! Мошкара! Что ж удивляться, что и котов здесь много? Для охоты им здесь место в самый раз. За перепелами, канальи, и сбегаются сюда изо всех сел, ваше высочество.

— Боу-боу-боу! — с берега реки подала голос Пегаска.

— Чего это она? — спросил князь.

— А это, ваше высочество, она лягушек у воды гоняет. Для нее первое удовольствие. Верно, у нее есть капля крови французских собак. Что французы, что их собаки большие любители лягушек, ваше высочество. Прямо-таки без ума от них. Как-то на пароходе я встретил двух французов. В разговоре между собой они все время вроде квакали: куа-куа.

— Боу-боу-боу! — слышался голос Якова Григорьевича. — Я мог бы подумать, что кто-нибудь намеренно заманивает сюда котов, но кто же осмелится такое учинить поблизости от имени вашего высочества? А между тем, все может быть. Иные люди злы. Вы не можете себе представить, ваше высочество, до чего доходит злоба у некоторых лю-

дей! Знавал я двух братьев Петренко, помещиков. Их матушка была фрейлиной в покоях императрицы Марии Федоровны при дворе блаженной памяти государя Александра III. Так у одного из братьев Петренко имение было под Елисаветградом, а у другого где-то в Полтавской губернии. И, поверите ли, когда братья рассорились, полтавский Петренко, хитрый хохол, звали его... звали его... черт, забыл, как звали! — щелкнул Яков Григорьевич пальцами, — чтобы насолить елисаветградскому, до чего додумался! Решил наловить 5000 сусликов, отвезти на землю брата и ночью выпустить их ему в хлеба. Расчет был простой. По данным науки, каждый суслик пожирает в год 1000 пудов зерна. 5000 сусликов начисто покончили бы с хлебами елисаветградского Петренка, тем более что полтавские суслики, говорят, преогромные. Им удивлялся еще шведский король Карл XII незадолго до битвы под Полтавой. К счастью, ваше высочество, священник на исповеди отговорил полтавского Петренка от этого злоумышления.

На мгновение слова Якова Григорьевича слились в одно глухое боу-боу, но затем вновь стали слышаться отчетливо. Князь молчал, и добрейший Яков Григорьевич, имея полный простор для разыгравшейся фантазии и желая блеснуть ученостью, дошел в своей импровизации до тех самых геркулесовых столбов, о которых было упомянуто выше.

— В прежние, можно сказать, незапамятные времена суслики, ваше высочество, водились еще и не такие. Научкой доказано, что в войске древнеперсидского царя Дария, некогда вторгшегося в скифские степи, имелись суслики необыкновенной величины, размером, пожалуй, с кошку, специально обученные ловле дичи. Хорошо натасканные, они излавливали дичь и приносили ее персам. Все было бы хорошо, ваше высочество, но скифы переманили этих сусликов, и Дарий вынужден был повернуть обратно.

Знал я также одного фельдшера, ваше высочество, детину грома-а-адного роста, но за робкий нрав прозванного Сусликом...

Речь Якова Григорьевича опять слилась в сплошное боу-боу, за которым последовало:

— Так что при наличии злого умысла все возможно и с котами. Они, между прочим, доложу я вам, ракалии прехитрые. Я сам видел, как большой рыжий кот, охотясь за бекасами неподалеку от имения Христофорова, крался вдоль болота. В бинокль я все отлично видел. Чтобы подкрасться незамеченным, подлец вывалялся в грязи болота и стал совершенно серым. Этого мало. Вывалялся, да еще потом наберет, каналья, грязи в лапку и домазывает себе бока и живот. Наберет и мажет, ваше высочество, наберет и мажет, неберет и мажет, наберет и мажет...

Дальше речь Якова Григорьевича стала окончательно неразборчивой. Вероятно, он и князь двинулись дальше по берегу Соленой. Слова сливались в глухое басистое боу-боу, словно за далекими кустами подавала голос вторая Пегаска.

— Слышал, какую ахинею нес враль? Вот заврался! — засмеялся Саша.

— Тс-с! — схватил я Сашу за рукав. — Не смейся! Оверко говорит: кто сильно смеется, тот скоро заплачет. Лучше запрягай и давай удирать; пусть лошади поторопливей переставляют ноги! Это я наделал, Саша: вспомнив о Димурихе, севшей в макитру со сметаной, я хохотал и нахохотал нам на голову великого князя. Не надо было смеяться! Теперь знаешь, что может быть? Одним мизинцем князь может сделать больше, чем сто Сиволябиных! А если дознается, что это мы завезли котов? Давай сматываться!

Вместо того, чтобы сделать это, Саша стал собирать сушняк, развел костер и сунул в него несколько картофелин. Потом произнес нечто не очень лестное по адресу его высочества. Будучи не в духе, он вообще любил изукрасить речь словечками и эпитетами, не предназначенными для ушей девятилетних мальчуганов. А он как раз здесь разошелся, с этими ушами не считаясь, так как против Романовых имел зуб.

Вслед за этим он с решительным видом уселся у костра возле нашей подводы, ядовито посмеиваясь над турусами на колесах, разведенными нашим Яковым Григорьевичем.

\* \* \*

Интересный человек был Саша. Он очень скептически смотрел на все заповеди морали и на многие сокровища человеческих ума и сердца — истину, правду, добродетель, долг, чистоту совести, дружбу он расценивал весьма низко, цинично смеялся над их лицемерным утверждением в нашем погрязшем в пороках мире, в мире хищническом, где человек человеку волк. Но этот же Саша за ширмой своего нигилизма как никто в городке размышлял над сравнительной ценностью вещей и среди мусора жизни упорно, видимо, искал, нащупывал ту самую истину, над которой издевался. Его отвергание добытых веками и принятых человеческих положений и установок, как потом я понял, было только плащом, под которым Саша прятал искание ответа на извечный вопрос: что есть истина?

Этот всего лишь приказчик оптовой торговли семечками и солью постоянно думал над вопросами, показывавшими, что его пытливый ум далеко опередил среду, в которой Саша, бедняк и сын бедняка, волей судеб обречен был вращаться. Глядя на серенького, нескладного человека в довольно неряшливом, потрепанном, выдавшем виды пиджаке, высокого, молчаливого, с острым носом, с постоянно опущенными к земле глазами, работающего среди других приказчиков, трудно было заподозрить в нем наличие каких-либо мыслей, выходящих за пределы семечек да соли.

Однако кто заглянул бы в зеленую тетрабочку Саши, тот увидел бы, что ее владелец, ясное дело, только снаружи покрыт серым налетом грубости и цинизма, а под этим налетом залегает чистое самородное золото, и в условиях другого, более совершенного общественного строя Саша мог

бы вырасти в большого человека, быть может, в выдающегося, в звезду первой величины. Так бывает с потускневшим снаружи червонцем, а потри его, и он засверкает блеском благородного металла.

В эту собственноручно сшитую тетрабочку Саша, как он говорил, записывал то да се. Когда на него находил стих — что бывало очень нечасто, — Саша читал собравшимся в кружок приказчикам и их приятелям страничку-другую из этой тетрабочки. Тут сразу определялись люди, которых ни жемчуг, ни пшеничные зерна жизни не интересовали. Это были те, кто любил не песни о солнце, море и полете чаек, а упивался песней, где Ванька Дуньку в лес ведет. Эти люди скучали во время чтения Сашей написанного в тетрабочке, поднимались и молча уходили из комнаты. Но были и интересовавшиеся записями Саши и даже иной раз вступавшие с ним в спор.

Вот и в тот вечер, после того как у костра мы с Сашей пошлепали в карты в подкидного дурака, к Саше пришло настроение обратиться к своей тетрабочке. При трепетном свете костра, игравшем медью на его остром носу, Саша кое-что прочел своему единственному слушателю и даже дал прочитанное переписать огрызком карандаша на лист толстой оберточной бумаги из-под завернутой в нее колбасы.

Этот лист с почти обесцвеченной временем записью, как реликвия, хранится у меня в числе вещей, когда-то моим домашним начальством называвшихся ненужным хламом: тетрадь с записями мыслей Баруха Спинозы, Гельвеция, Жана-Жака Руссо, Махатма Ганди, Рабиндраната Тагора, В.Гюго. Короленко, Толстого, а также с пачками пожелтевших писем давно умерших людей и полными двоек моими детскими тетрадями, где красный карандаш учителя яростно перечеркнул целые страницы.

Вот то, что сегодня я с трудом разбираю на оберточной бумаге:

Вопрос: Что такое труд?

Ответ: Работа и раб — слова одного корня. Какому пошлаку это понравилось?

Наступит время, когда труд станет потребностью внутреннего мира человека. Философ Литтре работал по 18 часов в сутки. Дюканж всю жизнь по 14 часов в день не оставял пера. Многие ученые спали в сутки не больше 4 часов. Гумбольдт (дожил до 90 лет), Кювье, Келлер, тот же Литтре. Это был труд не на хозяина, труд не подневольный, а труд любимый, и таким труд должен стать для всех людей. Мы — расточители времени, отрывая его от времени труда. Средний человек, обращающийся в прах и бесследно исчезающий, не оставив потомству никаких следов своего существования, за 70 лет жизни проводит во сне 23 года, 13 в разговорах с себе подобными, 6 лет за жратвой, и 1/2 года сидит в уборной. Не безобразие ли, что до сего времени не вносят коррективы в эту бордель природы?

Вопрос: Во что верить?

Ответ: В XIII веке император Фридрих Гогенштауфен написал сочинение: «Три самозванца: Моисей, Христос и Мохаммед». С тех пор массы не поумнели. Потому что им не дают. И еще потому, что массы инертны. Признаю лишь две веры: в науку и в человека.

Вопрос: Как бороться со злом?

Ответ: Бороться с отдельными стервецами и с отдельной мерзостью — это уподобиться ассенизатору Фильке: бочку г... вывозит, а яма остается, и ее вновь наполняют. Так обстоит и со всеми общественными делами. Зло надо прихлопнуть, а не откусывать от него по кусочкам.

Вопрос: Кто больше всех обеднял жизнь?

Ответ: Диоген. Зато он был застрахован от того, что у него наступит жировое перерождение сердца. Является фактом: чем больше у человека соблазнов и возможности удовлетворять постоянно растущие желания и потребности, тем больше делается он стервецом. Обросшие жиром жизни всегда стервецы. В здоровом теле у них всегда воющий дух.

Вопрос: В чем счастье?

Ответ: В свободном творческом труде, в том, чтобы делать добро людям.

Как бы я хотел иметь возможность так жить! Но черта с два! Судьба заготовила мне только погоню за синей птицей счастья.

Вопрос: Что тяжелее всего на свете?

Ответ: Видеть свет и не дотянуться до него. Испытывать жажду знаний и не утолять ее.

Вопрос: Какая гиря самая тяжелая?

Ответ: Мучитель до конца моих дней — мешок с солью.

Вопрос: Коротко о никопольской жизни.

Ответ: Никопольчане имеют то свинство, какого они достойны.

Вопрос: Самое поразительное из пророчеств?

Ответ: Пророчество А.К.Толстого в «Змее Тугарине» об апофеозе татарского начала в русской жизни.

И в тереме будет сидеть он своим,  
Подобно кумиру из храма,  
И будет он спины вам бить батогом,  
А вы ему стукать да стукать челом —  
Ой, срама, ой, горького срама!

Царю-батюшке слава! А он нас в бараний рог. Царю батюшке слава, и лижем ему ж...

Вопрос: Какое мое самое сильное желание, не оставляющее места ни для каких других желаний?

О т в е т: С негодованием и безгливостью отмежеваться от скопища стервцов и стерв, заплывших жирком жизни, а быть ближе к простому народу, из которого я вышел, которому так плохо служу, бессильный послужить лучше. Сейчас это нужнее всего, но как сумеешь, придавленный мешком с солью?

Я читал, а Саша, обняв колени, сидел у костра и задумчиво глядел на огонь. Несмотря на малые свои 9 лет, я почувствовал в записях крик Шашиной души. Чтобы отвлечь Сашу от овладевших им мрачных мыслей, я попробовал увести его к далеким мирам, подняв вопрос о людях на Луне, на Марсе и, быть может, там, откуда свет мчится к нам с не-

постижимой скоростью и доходит до нас во столько же времени, сколько нужно улитке, чтобы 100 миллиардов раз оползти вокруг земного шара.

Но Саша уже крепко сомкнул уста.

\* \* \*

Саша был из самых начитанных людей в городке. Тогда в Никополе еще не существовали библиотеки (Общественная библиотека и библиотека Общества приказчиков открыты были на несколько лет позже). Саша ходил по домам и выпрашивал у людей книги для чтения. Песок так не поглощает воду, как Саша глотал книги, и прочитанное прочно сидело в его мозгу.

Впоследствии, раздумывая над этим человеком и его судьбой, я находил в нем черты Базарова, а грубым, бесцеремонным, циничным, насмешливым развенчиванием кумиров и установок общества он напоминал мне Волка Ларсена из «Морского Волка» Д. Лондона.

Что за подлое время было и что за подлый строй жизни, обрекавший таких людей, как Саша, наполнять свою жизнь взвешиванием кулей с солью без всякой надежды на жизнь иную! Трагедия? Да, трагедия миллионов, ставшая обыденной вещью.

Думал ли я об этом у костра тогда, в свои 9 лет, не помню. Вероятно, эта мысль уже зарождалась во мне, но, конечно, еще не толкала к действию, к тому, чтобы присоединиться к стремящимся изменить порядок жизни на Земле. У костра сидел маленький Бойцовый Петух с деревянным пистолетом Пугачева за поясом.

И как раз когда я задал Саше вопрос:

— А как ты думаешь, Саша, на звезде Сириус есть люди?

И Саша уже хотел ответить, послышался легкий топот, и к костру своим гимнастическим шагом подбежала Пегаска.

— Здорово, Пегаска! А где твой хозяин? — спросил я на правах старого знакомого. Собака дружески помахивала обрубком хвоста. И сейчас же послышалось все приближавшееся

еся боу-боу Якова Григорьевича, покрывавшее княжеский тенорок, напрасно старавшийся пробиться сквозь непрерывный каскад этого боу-боу.

— Увидишь, Саша, — успел я сказать, — добра нам не ждать от этой встречи. И зачем только я смеялся! Напрасно мы не дали деру. Теперь держись!

Вот оба показались и подошли к костру. Мы с Сашей хотели подняться, но князь знаком руки остановил нас.

— Посидим у огонька, ваше высочество? — спросил Яков Григорьевич. — Любопытно, весьма любопытно то, что вы изволили рассказать! Как это адмирал замечательно выразился: История уже рассудила два поколения — отцов и детей, — и приговор произнесен. Г-м! Замечательно сказано, изумительно сказано! Видать, адмирал — тертый калач, ваше высочество! Как топором отрубил. У меня есть приятель — тоже не говорит, а прямо-таки топором рубит. Еще и не старик, а мудрости — бездна. Мудрейший человек сидит у нас также и у аптечного окна, а, поверите ли, от молодежи ему нет никакого уважения. Осмеивают. Для них ничего святого нет. Если старость не уважать, так на чем же свет держаться будет? Наукой доказано: без стариков свет пойдет кривь и вкось. Чем дольше человек живет, тем больше, по-моему, нужно воздавать ему почет.

— Не сказал бы, не сказал бы, — ответил князь, рассеянно глядя по сторонам. — Не по долголетию, не по тому, сколько прожил, а по тому, как прожил, надо мерить и расценивать человеческую жизнь. Ульрих фон Гуттен, один из величайших гуманистов, прожил всего 35 лет, а его помнят уже 500 лет. М-да, так вы предлагаете посидеть с молодыми людьми? Отчего же, посидим, если, конечно, молодые люди примут нас в свою компанию. Я очень даже не против того, чтобы посидеть. О чем же вы тут беседовали, уважаемые?

— О котях, — отрубил Саша, отодвигаясь и давая князю место у костра.

Я ясно почувствовал неприязнь в тоне Сашиного голоса и испугался, как бы не рассердился князь. Но князь только удивленно поднял бровь.



— Ах, вон оно что, о кота-ах, — протянул он, взглянув на Сашу, и я увидел в его взгляде добродушное удивление дерзковатости тона Шашиного ответа.

— И еще я хотел бы знать, есть ли на Сириусе люди, — расхрабрился я вставить слово.

— Картошечку печете? — спросил князь. — Вот бы мне сейчас печеной картошечки! Мечта после всех надоевших разносолов... Да, так ты о людях на Сириусе... А откуда ты знаешь о Сириусе?

— Доктора Коппа сынок, — сказал Яков Григорьевич.

— Вот оно что! Что же ты в таком наряде?

Я смехался.

— Чего стесняешься, паренек? — спросил князь, похлопав меня по плечу. — Не важно, каков картуз, — важно, какую голову он покрывает. Сириус... Я вижу, ты — мечтатель.

— Верно, мечтатель. А что толку? О чем мечтаю, того достигнуть не могу.

— А был ли когда-нибудь человек, получивший все, о чем мечтал?

— Конечно, был. Об этом можете прочесть в сказке Гауфа «Калиф-аист». Прочитайте, не пожалеете. Жил в одной арабской стране калиф. Он купил на базаре чудодейственный порошок. Выпей его, произнеси заклинание, и готово — превратишься в какую угодно птицу по своему желанию и станешь понимать язык всех птиц. Калиф и его визирь так и сделали.

— Позволь, так ведь это же сказка...

— А вы не перебивайте. Я бы тоже от такого порошка не отказался, но больше всего на свете хочу встретить колдунью. Во как хочу, да что-то колдунья не попадается — верно, вывелись. Кабы попалась, я б ее попросил заколдовать мою сестричку Полечку. Пусть бы Полечка могла по моему желанию уменьшаться и становиться величиной с мизинчик. Полечка на весь Никополь славится — грамотейка! Все знает и любую диктовку пишет без ошибок. Как

идти на урок, я бы ее клал в верхний карман. Учитель диктует, а я, голову склонивши, слушаю, что Полечка тонким-претонким голоском мне подсказывает, где «ять» писать, где два «н» и так далее.

— Эге, брат, — усмехнулся князь, — с такими мечтами до Сириуса не доберешься!

— Как бы не так! — отпарировал я. — Доберусь, дайте срок. Я еще придумаю аппарат, что сам до Сириуса доведет. Мне Оверко в этом поможет — он башковитый. Хоть нигде не учился, а сто профессоров за пояс заткнет.

— А я люблю Историю, — вдруг почему-то тут же ввернул я, приободрившись. Некстати, как дурачок, вылез и сейчас же получил подтверждение своей глупости, так как князь мне в тон насмешливо ответил:

— А я был в Курске.

Тут я уже окончательно полез в бутылку. Надо было показать этому князьку, что я его совершенно не боюсь, и срывающимся петушиным голосом я прокричал:

— Не думайте, что у меня под картузом в кругляшке солома! — и прибавил с упрямым вызовом, — люблю Историю.

— Не думал тебя обидеть, — улыбнулся князь. — Горяч! Горяч! Молодец! Может быть, скажешь, что знаешь из Истории? Знаешь что-нибудь?

Тут я сразу остыл. Князь показался мне совсем нестрашным, городской Марчук был куда страшнее. Простецкий человек, подумал я, и ответил бойко:

— Знаю ли что-нибудь? А как же! Вот только хронология мне не очень дается — на зубрежку я слаб. И еще: что учитель рассказывает, в одно ухо влетает, в другое вылетает, а что сам прочту — аминь, навеки! Я, брат, ваше высочество, — расхвастался я, — знаю всю историю назубок от Михаила Федоровича до Петра I, а дальше похуже, но тоже знаю. По учебнику Рождественского.

— Что ж, например, ты знаешь о Петре?

— Гм... В мае месяце, в день преподобного Исаакия Далматского, в Кремле раздался колокольный звон. Это было

знаком того, что у царя Алексея Михайловича и супруги его Натальи Кирилловны, урожденной Нарышкиной, родился сын. Царевича нарекли Петром.

— Здорово! Это по Рождественскому? — прервал меня князь.

— Ну да, по Рождественскому. Можете проверить

— Но что же ты знаешь о Петре? Только то, что он родился?

— Зачем же так? Его недаром назвали Великим. Это был настоящий царь, не то, что пошли потом... После Петра пошла всякая шушера, мелкота... так, царишки...

— Это о царях-то ты так? Мало же тебя секли, приятель!

Я был мальчишкой дерзким, не уважал старших, прыгал всем в глаза, считал, что чем больше грубить и нахальничать, тем больше подчеркивается твоя самостоятельность. Немало мне за это влетало от родителей, немало я получал и затрещин от тех, кого обижал, пока, наконец, ума-разума набрался и перестал пускать в ход клюв и петушиные шпоры.

Князь мне уже не казался страшным, и я вспылал:

— Кого? Меня сечь? — срывающимся голосом закричал я. — Меня сечь никто не смеет, ведь я — Пугачев!

— Как это Пугачев?

— Очень просто. Вот у меня пистолет за поясом. Лазарь Литинский сказал: Пугачев в людях никогда не кончается. Он живет в людях и должен жить. И в тебе, Павка, в тебе, Бойцовый Петух, сидит Пугачев. Лазарь так сказал, а раз он так сказал, значит, так и есть. А вы... сечь! Тоже!

— Ну-ну, — сказал князь примирительно, — не всякое лыко в строку. Давай мириться, Пугачев. Давай лапу! Но вот об Истории. И я в ней немножко кумекаю. Самую малость. А ты имеешь представление о том, что такое История? Что об этом говорит твой Рождественский?

— А это я знаю по Саше.

— По какому Саше?

— А вот по этому, — показал я на своего молчаливого спутника.

— Что же ты знаешь об Истории по Саше?

— А вот что — полез я за пазуху.

Тут я проворно достал другой лист оберточной бумаги довольно давнего происхождения, сел боком к костру, разгладил лист на колене и прочел почти без запинки:

«Есть особенная сладость в том, что мысль, пробегая по векам, останавливается и любит эпохи, народами, лицами, некогда существовавшими, и прижимает к сердцу наиболее любимое — то, что некогда светило во мраке, и грело и поддерживало бодрость духа у страдающего человека, и донесло до нас биение горячего и доброго сердца. Сжав зубы и мобилизовав всю силу воли, нужно пропустить мимо глаз и ушей всю массу человеческих страданий, угнетения и порабощения человеческого духа, океана пролитой крови, ибо этим полна История человечества, как море водой. История — дама нелюбимая и неподкупная, или, по крайней мере, должна быть такой. Поэтому-то она и обнажает из-под пластов времени все, что стремилось заглушить и задушить человеческий гений».

— Bravo! — воскликнул князь. — Да у нас на Руси имеются не только Гамлеты Щигровского уезда! Философы, ей-богу, философы есть на Никопольщине!

Князь посмотрел на Сашу, и, видимо, заинтересовавшись им, хотел его о чем-то спросить, но я этому помешал.

— А я знаю, кто такие Гамлеты, — не смог не позадаваться я. — Это которые в театре шапкой колют и череп бедного Йорика в руках крутят. И философов знаю. Есть у нас философ, аптекарь Вольтер...

— Слышал, — смеясь сказал князь.

— С его сыном, Веней его зовут, я дружу. Парень мировой. Так он мне отцовы слова пересказывает, и многие я запомнил, а кое-какие записал.

«Неисправимый романтик Гюго после всех громов революции устами одного из своих героев сказал: — Что ж, мельница сломана, а ветер остался!»

— Правда, красиво? И еще вот что сказал наш Вольтер:

«Как отшельник, ушедший от соблазнов мира, с головой окунается в мир духовных книг, и море это покрывает его и уже не выпускает в кипучий мир, так я ушел от житейских передряг и дребезжания жизни в мой собственный мир».

Но знаете, еще большим умником является один мой приятель-грузчик. Его зовут Оверко, его все знают в Никополе. Вот уж умница, так умница! Вот кого бы губернатором назначить! А то назначают всяких... В Екатеринославле сидит балда, а в Херсоне, говорят, совершеннейший толмак. Если хотите, я вас могу познакомить с Оверком, и вы сами увидите, что он за человек. Он тоже любит Историю, так что вы оба прекрасно сойдетесь. Он не только любит, он хорошо знает Историю и говорит, что знает, кто кого и когда гнул в бараний рог и когда и каким народам больше всего доставалось на орехи от своих правителей. А вот я вам почитаю, что еще Саша дал переписать из своей тетрабочки на прошлой неделе...

Но тут Саша рванулся, сердито вырвал у меня из рук листок, сложил вчетверо и спрятал в карман.

Только это меня не остановило. Я уже разошелся вовсю. Без тени смущения, не обращая внимания на сигналы Саши, свирепо подаваемые глазами и покашливанием, я понесся дальше.

— Ну, так я вам еще о грузчике Оверке расскажу. Он мне много чего поведал о разных приметах — что к чему, много также рассказал разных историй и правдивых пословиц. Между ними есть и неприличные, но большинство — хоть в книгах печатай. Например:

«В одной руке не понесет две дыни и самый жадный, и самый сильный, и самый догадливый, и самый богатый».

— Вот даже и вы — хоть вы великий князь, в одной руке две дыни не понесете! Или вот такое:

«Урядник и поп приносят больше вреда, чем два других человека любых других профессий, ибо один негодяй, а другой шарлатан: один гнет, а другой велит терпеть».

— Да ты граммофон! — так взвизгнул князь, что я, отшатнувшись, испугался. — Как есть граммофон... Гм... А знаешь, что это за штука?

— Это... это... когда пластинку ставят, а он играет, — ответил я оробев.

— Вот, вот! — Князь принялся зло меня отчитывать. — Вот, вот! Говорлив, а понимаешь ли все, что мелешь? Не думаю. Как граммофон, механически наигрывающий Оверкины пластинки. Дрянь-пластинки в тебя повкладывали, молодой человек! Есть такие головы... В них, правда не солома, но зато каша. Винегрет — все смешано. Рано тебе, дурья башка, засорять мозг мусором мыслей. Память-то острая, но на что? На вредное. А шустрый, шустрый, пострел! Как стихотворение вызубрил. Но пластинка никуда не годится, вредна. Да-с, вредна. Вот что, любезнейший, — повернулся князь к Якову Григорьевичу, в упор вперив в него сразу ставший надменным взор, и сказал повелительно — потрудитесь передать его отцу: пусть за направлением мыслей мальчишки последит. Кто там его накачивает недопустимо вредной галиматьей? С кем якшается? Что это за Оверко? Не вырос бы мальчишка чертополохом или еще чем-нибудь похуже!

Здесь я опускаю занавес и над своей неосмотрительностью, и над всем дальнейшим: наступившим неловким молчанием, поспешным отбытием в неизвестном направлении рассердившегося его высочества вместе со сконфуженным Яковым Григорьевичем и над моей последовавшей размолвкой с Сашей.

Костер потух, зато месяц в пышном ореоле принялся светить вовсю. Мы с Сашей улеглись на брезенте и, довольные друг другом, повернулись один к другому спинами.

— Ну и болван! — было последним, что проворчал Саша и что я услышал, засыпая, но все же успев подумать: кому это Саша адресует — Якову Григорьевичу, князю или мне? Вероятно, всем троим, но боюсь, что больше всех мне. И по заслугам. Нужно мне было расстегнуть рот перед дядей самого цряя!

\* \* \*

Утром мы пустились в обратный путь. Ехали медленно, наслаждаясь тишиной и свежестью росистого утра с его зарей, прекрасной, как улыбка ребенка, и пробуждающими степными просторами. На меня степь всегда действовала умиротворяюще, но на Сашу она так не подействовала.

Когда Саша бывал рассержен, он выражался очень энергично, из задумчивого и мягкого малого превращаясь в Волка Ларсена. Вот и теперь, только мы тронулись в путь, он принялся гневно меня пилить:

— Что это ты, трам-тарарам, вздумал выкладывать свою ученость, трепач несчастный! Словесный понос на тебя напал, трам-тарарам! Князь потянул тебя за веревочку, и ты, трам-тарарам, на всю катушку начал выворачиваться наизнанку. Такой случай упустили! Во всех других отношениях этот Романов нам с тобой нужен так, как все Романовы нужны России, как вообще цари и короли нужны народам. Но он посидел бы с нами часа два, и я вытянул бы из него то, что из книг не почерпнешь. Этот дядя — человек образованный. Ему все архивы доступны. А ты, трам-тарарам, его спугнул, он удрал, как кипятком ошпаренный. Дурья башка! Нашел перед кем раззвониться! Трепло! От тебя не ожидал. Он тебя обозвал дурьей башкой — и правильно! Правильно, трам-тарарам!

Я и сам горько каялся, что разболтался, а тут еще Саша взялся растревлять рану и посыпать перцем да солью.

— Еще, пожалуй, царю нажалуется, — мрачно сказал я.

— А как же, обязательно! Так и скажет: вот, ваше величество, живет в Никополе некто Павка Копп, дурья башка, такой-сякой... Давно березовой каши просит. Морду квасит полицейским (ты думаешь, он не узнает, кто спектакль устроил околоточному Сиволябину?), с подозрительными грузчиками водится, речи бунтовщические держит. Не мешало бы ему, царь-батюшка, всыпать мало-мало сто горячих, поддержать потом маленько за решеткой да и выслать

по этапу туда, где солнце всходит раз в год и заходит раз в год. Царь, услышав это, тотчас губернатору отпишет, а тот исправнику, а исправник приедет да Павку возьмет за мадам Сижу...

— Заливаешь! — расстроенный, сказал я. — А вот ежели Яков Григорьевич отцу расскажет, так мне нагорит. Что на смех поднимут — это еще полбеды, а может и здорово попасть. И что я, Саша, за несчастливца, что за невезучий! Другие легко находят свое счастье, прямо само в руки лезет. Как встретятся с царем или, там, с князем, так в их судьбе счастливый поворот. В «Капитанской дочке» невеста Гринева встретила с царицей Екатериной, и та ее осчастливила. Другой человек вспорол щуку и нашел в брюхе золотой перстень. А я сколько ни порол щук, хоть бы тебе дряненькое колечко нашел! Третий трахнул по макушке гипсовый бюст Наполеона и в осколках нашел знаменитую черную жемчужина Борджиа. Стоял у нас на полке в кладовой гипсовый бюст какого-то бородатого старика, так я его вроде нечаянно столкнул, а потом отнес в сарай, молотком по макушке звезданул и разбил. И что же? Извлек два пустых да три порожных. Дулю с маслом съел. Встретился, наконец, великий князь, так и с ним нет мне удачи. Нет того, чтобы он мне хоть какую-нибудь медальку повесил. Черта с два! Только и то, что обозвал граммофоном да башкой, набитой кашей, да еще дома ожидает если не нахлобучка, так нагоняй, а если не нагоняй, так прочуханка. И как пить дать, мать штаны в комод замкнет, если Яков Григорьевич натреплется. Как ты думаешь, Саша, натреплется Яков Григорьевич? Нет мне счастья! А все потому так вышло, что я насмеял беду.

— Так тебе и надо, дуралей! — Саша почесал за ухом и вдруг засмеялся и хлопнул меня по плечу. — Не дрейфь, Бойцовый Петух, не теряй надежды! Еще все впереди: как начнут на тебя милости судьбы сыпаться из ее рога изобилия, так только руки успевай подставлять. И знаешь, что я тебе скажу? Ты судом дел человеческих оправдан. Из всех

трех ты со своим фонтаном красноречия, хоть и по глупости, единственный оказался на высоте, мы же со Штамбургом оплошали. В особенности я. Простить себе не могу! Романов привык, чтобы все его желания исполнялись. — Подержите лошадь! — приказал один холуй Романова, Яков Григорьевич, и я, как такой же холуй, бросился это исполнять. Штамбург к тому же, хорош гусь, со своей ахинеей про сусликов! И кому же он ерундил про сусликов в войске персидского царя Дария? Историк. Позор! А историк слушал да, верно, думал: вот тип для выставки ничтожеств! Будет что порассказать в Петербурге! Да, Петух, Штамбург — лилипут, я — холуй, один ты оказался храбрым Гулливером. Ты плел свое, а Романова передергивало. Губы сжимались, и бородачка подрагивала. Я чувствовал: вот сейчас начнется извержение вулкана. В общем, трам-тарарам, неплохо получилось, даже хорошо. Не робей, Петух, молодец! Ха-ха-ха, трам-тарарам, вскочил голубчик-князюшка, как кипятком ошпаренный. Как шилом в зад ты его кольнул.

Так, разговаривая, ехали мы потихоньку степными просторами, и городок и дальняя излучина Днепра заголубели уже перед нами.словно детские кубики, под горой беспорядочно рассыпавшиеся домики, церковки, излучина Днепра, а за Днепром, под голубым небесным куполом, как девичья бровь на прекрасном лице, тонкой нитью нарисованная дуга плавней — все это родное и милое купалось в свету, все сразу влило покой в мою встревоженную душу.

\* \* \*

Прошла неделя со дня моей поездки на Соленую, а никакая гроза надо мной дома не разразилась. Я убедился, что Яков Григорьевич по свойственной ему доброте ничего не сказал моим родителям. Висевший над моей буйной головушкой меч исчез.

На перекрестке улиц я как-то столкнулся лицом к лицу с Яковом Григорьевичем. Предшествуемый Пегаской, он шел по своему треугольнику в 18521-ый раз и, протянув руку, остановил меня.

— Ах ты, разбойник! — раздалось его боу-боу. — Как же ты осмелился отчебучить такое великому князю? Я прямо чуть в штаны не наложил.

Будь ты при усах и бороде, не сносить бы тебе головы... Храбрец! Храбрец отчаянный! Но всякая добродетель должна быть вознаграждена. Валяй, проси у меня чего хочешь.

— Батюшки, — подумал я, — неужели по шущему веленью, по Сашину хотенью судьба уже начинает наклонять надо мной свой рог изобилия. Как же жаль, что этих долгожданных слов ПРОСИ ЧЕГО ХОЧЕШЬ не услышал я из уст великого князя, а сорвались они с языка всего лишь незнатного небогатого фельдшера убогой земской больнички! Но к этому времени мне уже были преподаны кое-какие правила житейской мудрости, какими следовало руководствоваться, если хочешь преуспеть в жизни. В первую очередь такие:

- 1) всякое деяние — благо. Курочка по зернышку клюет и сыта бывает;
- 2) бьют — беги, дают — бери;
- 3) дареному коню в зубы не смотрят;
- 4) с паршивой овцы хоть шерсти клок;
- 5) лучше синицу в руки, чем журавля в небе.

В мои 9 лет я был уже достаточно нашпигован этой пошлятиной — далеким от звездных миров практическим кодексом поведения хитроглазых плутов, рачительных крохоборов, из копеечек складывающих миллионы, хлебных маклеров и скупщиков хлеба, обжуливающих крестьян.

Всех сокровищ Голконды, однако, не хватило бы тогда для претворения в жизнь моих мечтаний, венцом которых являлся хрустальный дворец на необитаемом острове в далеком океане, где мы с 8-летней Женей жили бы в окружении белоснежных лебедей и райских радостей. А у Якова Григорьевича пиджачишко был поношенный, штаны с бахромцой и ботинки, нуждавшиеся в срочной помощи и уже не раз побывавшие в руках сапожника Моти. Поэтому я смиренно попросил:

— Возьмите меня на охоту, Яков Григорьевич, и дайте пострелять из вашего ружья.

Свистнув Пегаску, он удалился. Я посмотрел ему вслед и, самокритично анализируя все происшедшее на р. Соленой, удивился, что он усмотрел смелость там, где так и выпирала непроходимая, невероятная глупость.

Яков Григорьевич ничего не рассказал моим родителям, но, очевидно, кое-кому рассказал. Вскоре остановил меня на улице Лазарь Литинский.

— Ай да молодец! Ай да Бойцовый Петух! — закричал он на всю улицу, по обыкновению никого не стесняясь. — Слышал, слышал! Князя отшил и отбрил! Какого же ты подарочка за это хочешь? Проси, Бойцовый Петух!

Поистине Саша — провидец, подумал я. Что ж, вопрос не застал меня врасплох. Хорошо, что репетиция была, к спектаклю я был подготовлен.

— Спасибо, — ответил я, подобоченьсь, — от подарка не отказываюсь, но видите ли, мне предстоит сражение с некоторыми вражескими племенами, а затем эскадра отплывает на неопределенное время в южные моря. По возвращении я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением. Адью!

Мы ударили по рукам и расстались. Лазарь помчался по направлению к аптеке — без сомнения, на очередную словесную перепалку со старым аптекарем; я, высоко задрав нос и распушив перья, отправился по своим делам, на сей раз связанным с намеченным походом ребят в Никитландию, где предстояла схватка с никитинской босячкой.

Останавливали меня и другие люди, но нервы потрепали только двое, не раз трепавшие нашим ребятам и уши. Это были двуногие барсуки: старый буйвол Худяков и духовная особа Успенский. Они обругали меня, сказав, что не понимают, как это у приличных родителей вырос такой нахальный и беспардонный сыночек с авантюристическими наклонностями, не считающийся ни с жохом, ни с чохом, чье будущее — неизбежно тюрьма. Мне не оставалось

ничего другого, как убежать, предварительно пригласив барсуков приложиться устами, похлопав себя по заднице.

Зато меня порадовал Саша.

В витрине книжного магазина давно уже я заглядывался на полюбившийся мне томик Некрасова. В скромном сереньком переплете он казался мне милей и желанней книг Буссенара, Гранстрема и Жаколио в пышных золотообрезных мундирах и фраках. Я даже шепнул сестричке Полечке, чтоб она натолкнула мамочку на мысль подарить мне эту книгу на именины.

И вот, когда 20 августа я пришел к Хануковым с похвальным намерением включиться в грандиозные военные действия против армии крысиного царя Теодориха, Саша зазвал меня в подвальное помещение и молча вручил мне заветную книгу. Я обомлел. Я ее узнал, эту книгу, и сердце мое забилось радостью и благодарностью Саше.

Эта книга и сейчас у меня. От времени она стала совсем серенькой замарашкой, но как только беру ее в руки, добрая волшебница сейчас же превращает дурнушку Золушку в прекрасную принцессу, писаную красавицу. И хотя ветхи читанные и перечитанные страницы, истрепался переплет, пожелтел и покоробился клеенный и сложенный вдвое Сашин лист с большой дарственной надписью, но как только посмотрю на эту книгу, добрая волшебница вызывает ко мне в комнату золотую страну детства, Сашу и ночевку на берегу р. Соленой.

Своими мельчайшими буквами корявого почерка Саша написал:

«Маленькому Пугачеву на память от Саши Эдельберга, чья душа и спина топятся под мешками с солью.

Иные трудятся, но не учатся — это плохо. Другие учатся, но не трудятся — это не лучше. Третьи не учатся и не трудятся — это мерзкие паразиты, бременящие Землю своим присутствием. Под их подлой шкурой никогда и не ночевал человек. Трудиться и учиться надо всю жизнь. А ее ценность измеряется общественной пользой. За возмож-

ность для всех учиться и трудиться лучшие люди России гниют в тюрьмах.

Хочешь вырасти человеком? Хочешь долго жить? Хочешь правильно, с пользой для людей жить? Учись и трудись. И пусть в тебе никогда не умирают ни Бойцовый Петух, ни Пугачев. Именно такая и только такая жизнь — величайшее благо. Всякая иная жизнь — потеря и кража ее у себя самого. Тициан творил кистью в возрасте 100 лет. Артуру Рубинштейну было под 80, когда он блестяще концертировал, увлекая людей из прозы жизни в мир грез. Еще в XVIII веке врач Гуфеланд писал: «Ни один лентяй не достиг глубокого возраста; все достигшие его вели деятельный образ жизни».

Расти, вырастай в человека!

20 авг. 1903 г. С.Э.»

Этому завету Саши я следую всю свою жизнь.

\* \* \*

Я прочел написанное здесь о тебе, Яков Григорьевич. Боже мой! О, тень моего давно умершего земляка! Ум бедный и простое человеческое сердце. Распинали тебя когда-то молодые люди, теперь я, больше чем 90-летний старик, распял тебя на этих страницах. Потому что писал это глубокий старик, а жил в это время второй жизнью 9-летний сорванец, потом юный искатель человеческого счастья. Потому что писал-то я, а водили пером властители моих дум, начиная с Герцена и Чернышевского. Потому что не может мое перо не писать правдиво, а значит, мучительно для меня и для того, о ком пишет. Не умея метать громы и молнии, страстно обличать огненным словом вдохновенного пророка, оно способно лишь на ядовитый смешок да кусливую иронию. Все, что я написал о тебе, — правда, но это не вся правда, ибо в людях не бывает тьмы без всякого проблеска света. Так, как я писал тебя, не пишут художники натуру. Я лишь прикладывал к тебе мерку моих властителей дум, и поэтому, написав ТВОЙ портрет, как когда-то выразился Гюго, создал черного горносталя без единого белого пятнышка ума.

А между тем, когда речь идет о прошлом, от которого мы уже отошли на порядочное расстояние, не такой уж грех относиться снисходительно к человеческим слабостям, в особенности памятуя, что и собственное гнездо не было устлано орлиными перьями. Давно мне уже следовало простить грехи твоей тени — мне, самому нуждающемуся в прощении.

Хотя, как многие старики, я весь ушел в прошлое, но мои ум и сердце отданы людям, творящим будущее, и к их морю мыслей и дел прибавляю я свою каплю. И все это началось во дни твоей молодости, а моего детства. Это было время начавшегося и уже резко обозначившегося, из поколения в поколение постоянного повторяющегося размежевания будущего и прошлого, — процесса неостановимого и необратимого. Для тех, кто избрал тебя мишенью нападков, ты был гирей на ногах, шагающих в будущее; ты для этих людей олицетворял все, уходящее в прошлое.

Стычка вокруг твоей особы, где Лазарь Литинский яростно нападал на тебя, а старый аптекарь с мудростью निकопольского Вольтера тебя защищал, кончались тем, что Литинский, махнув рукой, поворачивался и шагал прочь своей быстрой походкой, а старый аптекарь, сердито жуя беззубым ртом, оставался сидеть у своего окна, как большая нахохлившаяся птица. Вероятно, он раздумывал о мире, о шумной жизни, переливающейся всеми красками и неостановимо мчащейся перед. Вероятно, раздумывая и о том, что старикам ничего в этом громадном мире не остается, кроме угла, где тикают ходики, где тишину нарушает лишь муха, бьющаяся о стекло окна, и где так безрадостно ждать своего неизбежного часа.

Баталии между Лазарем и निकопольским Вольтером вокруг личности Якова Григорьевича, записанные в моей памяти несмыслаемыми никаким времени чернилами, происходили уже незадолго до революции 1905 года. Они происходили затем еще ряд лет, когда лепили из меня человека

Карпов и Яворницкий\* и когда я уже безоговорочно принял сторону будущего, а прошлое начисто отменил.

А теперь? Теперь жалкий остаток Бойцового Петуха с плешью на всю голову, с потрепанными, вылезшими от старости перьями, с негнушимися ногами, на которых некогда без уговора носилось по земле мое молодое тело? Теперь, согнутый грузом лет, искалеченный, продырявленный, обескровленный войнами, болезнями и многочисленными потерями близких, с больной душой, отдавший годам все соки жизни, — теперь-то что скажу вам, тени прошлого?



*Петр МЕЖИРИЦКИЙ*

## **КРЕЩАТИК ПОВЕРЖЕННЫЙ**

**ГЛАВА ИЗ РОМАНА «ТОСКА ПО ЛОНДОНУ»**

**ОТ АВТОРА**

Имя мое ничего не скажет читателю, хоть я и печатался в Союзе в толстых и тонких журналах и даже удостоился неодобрительной критики. Критиковали не за то, что рассказывал правду о действительности, а за то, что недостаточно ее извращал. Немногие читатели знают о пропасти, разделяющей замысел среднего советского литератора и жалкий результат его совместных с редактором стараний сделать рукопись публикабельной.

Здесь, в эмиграции, перед людьми пишущими, особенно перед такими, как я, прежде законопослушными, возникает особая трудность — выйти из послушания и взглянуть на прожитое, с детства вдолбленное, со стороны.

Новые факты заполняли пробелы в моем сознании, ложь уступала место правде, рекристаллизация знаний совершалась в мозгу и, конечно же, все это искало выхода. А для профессионала исходная точка одна: человечество утопает в литературе, есть ли у тебя что сказать?

Откуда в нашей жизни столько непрерывных «временных трудностей»? Откуда жестокость, кажущаяся бессмысленной и до сих пор не находящая объяснений? Кто и зачем так запутал нашу историю?

И вдруг совершился какой-то магический поворот ключа. Меня швырнуло к пишущей машинке после многих лет молчания. Все, чем нас

\* Карпов — руководитель кружка левонастроенной молодежи в Екатеринославе, Яворницкий — ученый-историк.



начинили, — меня, нас, вас, читатель, — все диалектические квазимудрости и исторические фальсификации распались на составные части. Это было так, как словно бы из фарша на моих глазах восстал живой теленок, и зеленый луг, на который его пустили на выпас, и дождик, который кропит траву.

Не скажу, что прозрение оказалось радостно, вовсе нет. Так вот, значит, что происходило на самом деле. Вот каков был подлинный смысл событий и вот для чего... и как нам это истолковали.

Роман начался как исторический. Сталин. Уголовник среди более или менее, так сказать, идеалистов. Бандит среди интеллигентов, потому-то и преуспевший, что не колебался в выборе средств. Рассказ изнутри, его показания по собственному уголовному делу. Так начался роман и — захлебнулся. Не хватило пороку. Писать-то приходилось в свободное от работы время, а много ли у нас здесь свободного времени...

Но такая работа, раз начавшись, не может быть прекращена. Прошел еще год, и восстали новые компоненты фарша — мы сами, творения и орудия этой истории, уникальные — таких не было раньше и никогда не будет впредь, поколения неповторимы. Кто и зачем воспитал нас такими уродами в противоречии с идеалами и со здравым смыслом? Откуда в нашей жизни столько проблем? И вообще — вечный вопрос! — что мы такое в этом мире?

«Тоска по Лондону» многоплановое произведение. Действие его разворачивается в разное время; в годы войны в Ставке Верховного Главнокомандования и в наши дни в СССР. Не общее время, а нерасторжимая связь времен держит сюжет.

Повествование ведут трое: старый доктор, ученик и современник великих русских психиатров, личный врач Сталина; пожилой писатель, эмигрант так называемой третьей волны, не выдержавший эмиграции и вернувшийся в СССР, бросив семью; молодая девушка, дочь партийно-функционала.

Линии романа нерасторжимы как история и современность. И так же непредсказуемы. Все три повествования ведутся от первого лица. Вовсе не потому, что хочется быть зачисленным в новаторы, а исключительно в интересах истины. Хочу отметить, что произведение это можно, конечно, назвать романом, но с большой натяжкой: оно насыщенно событиями, которые действительно происходили. Этих событий так много, что они могли бы показаться нагромождением фактов, если бы не были так тесно связаны и переплетены между собой.

Предлагаемая читателю глава исходит от писателя-возвращенца. Диссидентствуя на данном этапе, он ведет существование в роли Городского Сумасшедшего в городе, из которого эмигрировал и где все его хорошо знали по прошлой жизни. Цель, которую он ставит перед собой, требует его возвращения в жизнь в качестве полноправного члена общества, чего он пытается добиться путем написания злободневного эссе в духе времени.

*Петр МЕЖИРИЦКИЙ*

\* \* \*

Имеет место событие, которое невозможно объяснить. Не берусь даже определить его без привлечения новых категорий. Буду описывать, как происходило.

После исполнения тотемического обряда Анна уснула. Я лежал рядом, и в наступивших сумерках мне хорошо думалось. Эссе о школьном воспитании ощетинивалось доводами и уже бряцало, как медалями, дюжиной тех словечек и оборотов, которые даже бесконфликтный материал делают читабельным.

Боясь забыть и растерять находки, натянул свою хламиду, бывшую когда-то в незапамятные времена махровым халатом, присел в кресло и карандашом, чтобы стуком машинки не разбудить Анну, набросал тезисы. Затем вернулся к первой фразе и застрочил. Когда взглянул на часы, они показывали одиннадцать. Эссе было окончено. И тут я похолодел: вдруг подумалось, что Анна умерла. Вот чего мне не хватало — женского трупа в моем логове. Я наклонился над нею, она мерно дышала во сне. Легонько потряс за плечо. Ммм, сладко сказала она и повернулась лицом к стене. Что за чертовщина? Анна, удовлетворенная одним раундом? И засыпающая после этого в восемь? И спящая, не смотря на зажженный свет и мое теперь уже возбужденное шагание по каземату? Пожал плечами и оставил ее в покое: в конце концов предстоит еще ужинать, ложиться без ужина я так и не научился; а уж пока свершу это не спеша, с книгой в руке, она несомненно раскроет вежды.

Как бы не так. Лег в первом часу, спать решительно не хотелось. Я был очень даже не прочь повторить пройденное. Но она не просыпалась. А будить ее не хотелось. Она-то в подобных случаях не церемонится, будит — своим, особым способом. Лежал и злился: проснется, каналья, когда усну, и разбудит своим особым способом...

Сон не шел.

Думалось обо всем сразу: что тон эссе несомненно покажется высок, что на областном уровне такое, естественно, пойти не может, а на союзный меня не выпустят. Все-таки

не следует забывать: я всего только городской сумасшедший, все в прошлом, нынче я лицо недееспособное. Чтобы мой материал приняли в центральную прессу, к нему должно быть приложено авторитетное партитское ходатайство. А кто захочет рисковать ради сумасшедшего писателя да еще без всякой для себя пользы...

Забившись на этом месте, подобно бабочке у оконного стекла, мысль моя бессильно провалилась в прошлое. Я охотно возвращаюсь туда, в любое время. Чем дальше, тем лучше.

Вспоминался Кирюша Зубаровский. Мы учились вместе в Двадцать Пятой Гвардейской (это звание мы ей сами присвоили) средней школе имени В. Г. Белинского (это звание ей присвоила держава) в достославном граде Егупеце.

Кирюша происходил из разночинной семьи, в ней уже по крайней мере три поколения предков были интеллигентны. Мальчик как мальчик. Темперамент холерический, быстрые глаза, резкие движения, энергичная походка. Лицо у него было суховато для подростка, зато нос доброжелательно вздернут, а волосы дикообразно торчали над глазами козырьком. В жизни никогда больше не видел таких волос. Он жил на шестом этаже старого семиэтажного дома на Большой Житомирской в квартире если и не отдельной, то, по крайней мере, обширной.

На меня, привыкшего к уюту занавесочек и салфеточек, эта квартира не производила впечатления. Просиженные кожаные кресла, диваны почему-то не у стен, а посреди комнаты, и безмерные книжные шкафы, уходившие в самое небо. Шкафы набиты были книгами, поставленными без всякого респекта к цвету обложек. Запах книг царил в доме, запах пересохшей бумаги, клея и коленкора. Я любил, чтобы пахло жарким, и этот запах в первый раз мне не понравился. Потом я к нему притерпелся. Потом — незаметно! — он стал ароматом, я полюбил его. Теперь схожу от него с ума. Дух преемственной мысли, накапливаемой и совершенствуемой. Его нет в новых библиотеках. Партитская власть прячет в недоступные подвалы российское прошлое и

стыдится настоящего. Поскольку истинное регулярно объявляется ложным, старые книги выбрасываются на помойку. Зато этот аромат веков чуть не вызвал у меня истерику, едва я приоткрыл дверь книгохранилища Принстонского университета, и мгновенно вспомнился Кирюшка и его беспорядочное интеллигентское жилище.

Не сразу получил я приглашение. С полгода Кирюшка ко мне присматривался. Думаю, не потому пригласил, что так уж я подходил ему в друзья: он не был от меня в восторге. Просто надо же было с кем-то знаться, а я на общем фоне был еще ничего. Ну, во-первых, в свои полноценные одиннадцать лет не ругался матом, разве доведут до умоисступления. Кирюшка-то даже в умоисступлении не ругался, он тогда говорил: «Если ты не прекратишь, я тебя вздую». Смешно это звучало на фоне отборной ругани. Но однажды мы увидели Кирюшку дерущимся, и нам стало не до смеха. Разняли. Обычно не разнимали, развлекались зрелищем. Во-вторых, я не был отличником и, следовательно, занудой. Но довольно много читал. И, в-третьих, любил животных, вернее, любопытствовал ими.

Меня к нему потянула загадочность (она проявилась пять лет спустя) и жалость: у Кирюши не было матери, в наше время это случалось относительно редко, сплошь да рядом не было отцов. Отрока лелеяла мечеха, она души в нем не чаяла. А кто из взрослых чаял... Мальчишка был образцом взрослости. Да не смирен, нет, валял дурака не хуже всех нас. Но на свой манер. Во всяком случае, не швырянием чернилниц с третьего этажа школьного здания с таким расчетом, чтобы они разбивались об асфальт по касательной, это обрызгивало прохожих с наибольшей плотностью. Зато в нормальных играх не отставал от любого заводилы, бегал, прыгал и орал с раскрасневшейся физиономией и взмокшим козырьком волос.

Взрослость его надо понимать в качественно лучшем смысле: он был надежен, сдержан и благороден так, как лучшие из взрослых стараются воспитать себя хотя бы к

старости. Словом, он был ярко индивидуален. В то время, как мы учились кое-как, лишь бы родители не скандалили, он набирал знания целеустремленно, заранее зная, кем будет. Биологом. Да он уже и был им. Биологами были его отец и мачеха, и как-то они сумели передать ему восхищение чудом жизнедеятельности всех тварей земных. На уроках биологии наша Сова вызывала Кирюшку ради отдохновения своих старых ушей, и Кирюшка не срамлился. Он говорил о вещах, которых не было в учебниках, и Сове не часто приходилось его поправлять. Бывало, они и спорили — на потеху нам, и при этом Кирюшка по-прежнему глядел на биологичку преданным взглядом.

В других предметах усердия не проявлял.

Наши с ним прогулки по склонам над Славутичем и по прудам Предместной Слободки (название можно найти только на старых картах Егупеца) были сущим наказанием для тамошней фауны. Мы хватали все, что попадалось на глаза, и жадно совали в припасенные баночки-скляночки. По скудости титской, да еще послевоенной, ящики для отловленных животных купить было негде. И не на что. А сделать нечем. И не из чего. Кирилл разными декоративными ухищрениями старался компенсировать тварям суровость содержания в стеклянной посуде и меня заставлял делать то же. Не следовать ему было нельзя, он тут же ссорился, в вопросах этики компромиссов для него не существовало. Поэтому в конце концов мне пришлось ограничить охоту одними ящерицами. Их живучесть была сродни человеческой. И все шло хорошо до того самого дня, когда Кирилл предложил мне в подарок парочку морских свинок. Ему покупали в зоомагазине ежа, и для свинок в перегруженной книгами, переполненной людьми и другими животными квартире, просто не оставалось места. Я, конечно, согласился. Я отдам их тебе с ящиком, сказал он. Я был в восторге. Маленькие теплые свинки казались мне чудом: я как-то сразу потерял интерес к холоднокровным ящерицам. Но у тебя же ящерицы, коварно продолжал Кирилл,

а у вас в квартире в сто раз теснее, чем у нас. Что верно, то верно, нас жило девять взрослых и детей в двух крохотных комнатках. Что бы стоило отмахнуться — ничего, всем места хватит! Но я не был лживым мальчиком и простодушно сказал: я их выброшу. Естественно, я не имел в виду, что выброшу их на асфальт из окна своего четвертого этажа, а подразумевал, что вынесу в какой-нибудь егупецкий задворок и там выпущу на волю. Но Кирюшка, видимо, находился в плену каких-то своих представлений обо мне (как позднее многие другие) и жаждал получить подтверждение. А это дело несложное. Хочешь — получишь. Даже в науке. Мое «выброшу» он понял буквально и рассвирепел. Сперва я оробел, потом обозлился. Да кто ты такой? Не буду оправдываться, катись колбаской.

В отрочестве либо дружат, либо враждуют. Но мы, перестав дружить, не разошлись. Эту необычную для нашего возраста аномалию не понять, если не принять во внимание того особенного места, в котором мы росли. А росли мы в Егупеце, о котором Архитрав как-то заметил, что флора егупецкая — это да, зато фауна!..

Средоточие моей жизни там, где Владимирская улица, продолжая оставаться широкой, делается тихой. Дома все так же высоки, и красивые, и стары. Каштаны все так же раскидисты, и так же уложен асфальт, но нет уже ни трамваев, ни троллейбусов, ни машин, потому что улица выбегает на крутой берег Славутича. Гордая Владимирская начинает клониться к обрыву, вперед и набок, и за маленькой треугольной площадью ее разбег мягко останавливает старый-престарый дом, выкрашенный в белое и желтое. Дом стоит чуть наискосок, в этом, должно быть, тайна его деликатного жеста. Так поставили его строители, люди, умевшие чтить землю и читать ее желания по рельефу. Такому дому пристало быть скорее помещичьей усадьбой, чем городской коммуналкой. Его фасад тихо струится с Трехсвятительской улицы и предупреждает прохожего об Андреевском спуске.

Ул. Трехсвятительская после революции была переименована в ул. Жертв Революции. В большом пятиэтажном доме разместился Украинский радиокomitee. Благодаря этому жители Украины постоянно слышали напоминание на русском и украинском языках: «Пишите нам по адресу: ул. Жертв Революции, 14». Это длилось десятки лет, с двадцатых до конца пятидесятых. Ежедневно по многу раз: наш адрес улица Жертв Революции... Уж не знаю, что по этому поводу думали немногочисленные уцелевшие жертвы революции, мы-то по недомыслию себя к ним не причисляли. В конце пятидесятых кто-то спохватился, и улицу переименовали, она стала называться улицей Героев Революции.

Окна нашей классной комнаты выходили прямо на купола Андреевской церкви, и ветер с Десны, Славутича и Припяти врывался к нам и шевелил наши волосы. Он приносил с собой ржанье коней, и верблюжий рев, и гиканье орды, неисчислимой, словно саранча. Во дворе школы шли археологические раскопки. Учителя рассказывали нам о вещем Олеге, змея укусила его на этом самом месте. И Ольга с Игорем пировали здесь, и Владимир Святой погружал здесь народ в купель очищенных струй, никак не предвидя, конечно, того, что произойдет здесь тысячу лет спустя... Школа частью своего фундамента опиралась на основание Десятинной церкви — последнего оплота жителей в Батыево нашествие. Церковь рухнула, но не сдалась.

В каком-то смысле школа наша была последним оплотом старого мира. Она держалась так долго, как долго сопротивлялась лучшая часть учительского гарнизона...

Древность этой земли врывалась к нам в окна, но все вокруг стало иным. Здесь же, на этом самом месте. Испив до дна чашу нового нашествия, послевоенный Егупец взбеленился. Атомная бомба и холодная война уже существовали. Взрослые вокруг нас не верили в мир и спешили жить. Конец света казался рядом, только руку протяни.

Крещатик и окружающие улицы представляли груды развалин столь зловещих, что до сих пор являются ночами как

самый жуткий из моих кошмаров. Мы искали в развалинах тол, жгли его, и он горел скучным коптящим пламенем. Тола было так много, что даже в то время, совсем несмышленишь, я думал о тех, кто взрывал эти дома: сильно же было их чувство! Официально было объявлено, что город взорван немцами, и немецкие солдаты покорно разбирали развалины. Где-то глухо говорили, что немцам незачем было взрывать город едва они его заняли. Но к тому времени все как-то перемешалось, и уже неясно было, что к чему, а всяких слухов столько бродило в Егупце...

Много лет спустя взрыв Крещатика был признан титскими властями, этим стали гордиться. Кого-то наградили посмертно, и я подумал: бедные вы мои оставшиеся в Егупце соплеменники... Если во всех бесчисленных Щирцах и Коровичах вы были агнцами божьими, то в Егупце злобная молва пристегнула вас к преступлению одного зверского режима и облегчила расправу с вами другого, не менее зверского. Дывиться, шептали или злобно кричали им соседи, знаетэ сколько бэзвынних людэй загинуло разом з нимцями, цэ все ваши наробылы... И они молча глотали упреки, словно были причастны. А спустя несколько дней их привели в яр и убили: кто-то должен был расплатиться за трагедию Крещатика. Их убили в Судный день, в главный посвященный Тебе праздник, а Ты столько времени молчал и караешь не тех...

Словом, город лежал в руинах, и все вокруг готовилось к снятию семи печатей. Новости были однообразно нервозны.

Зимой сорок шестого в Егупец таинственным путем просочилось известие, что от Солнца оторвался осколок и, минуя другие планеты, летит на Землю. Немедленно из магазинов исчезли соль, мыло и спички, то есть все, что продавалось не по карточкам.

Если кусок Солнца летит на Землю, органической жизни на планете приходит конец, что тогда солить, на что мыло, если вода будет лишь в паробразном состоянии, и эти

совсем уже нелепые спички, когда все будет в огне и сгорит даже соль... Образованные егупчане раздраженно объясняли это темным людям, выстаивая вместе с ними в длинных очередях за солью, мылом и спичками. Цены на продукты взвились, в ход пошли остатки фамильных драгоценностей, и кто-то погрел на этом руки.

Следующей зимой в Егупец нагрянула банда «Черная кошка», а сразу вслед за нею появились «молоточники». Десятки людей пали их жертвами на улицах и переулках, а молва так вообще убивала сотнями. Популярную в то время песенку «Хороши весной в саду цветочки» запели с новым припевом: «Выйдешь вечерочком, стукнут молоточком, и в глазах становится темно». Протокольная правда заключалась в том, что городской транспорт практически не работал, и в суровую зиму по улицам Егупеца опасно было ходить. Не из-за грабителей, а из-за того, что было темно и скользко. Если человек, упав навзничь и ударившись затылком о мостовую, способен потом давать показания, не ждите от него связного повествования о том, что с ним произошло. Он вовсе не собирался падать. Он не помнит мига перед падением. Ему кажется, что его ударили. Так как он не видел никого перед собой, ясно, что ударили сзади. Подкрались и — молотком. И вот он в больнице. Еще хорошо, что жив. Естественно, соль, мыло и спички снова исчезли с прилавков, и вздорожали продукты, и снова кто-то на этом погрел руки.

Третьим приступом была отмена карточной системы и девальвация с заменой денежных знаков. Было объявлено, что с такого-то дня и часа все банковские вклады будут переведены на новую денежную шкалу и установлен максимум подлежащих переводу сумм, смехотворно низкий. С того же часа старые денежные знаки теряли силу и не принимались более в обмен на товары. В ответ на это неимущие на оставшиеся гроши купили водки, имущие — золота и бриллиантов, а остальные в панике забежали по магазинам, вследствие чего соль, мыло и спички снова оказались

раскуплены, поскольку ассортимент товаров разнообразием не отличался. В ту зиму стояла необычная теплынь. Поговаривали, оттого, что горят спекулянты. Думаю, речь шла о мелких, крупные же опять грели руки.

Ввиду девальвации никаких космических катастроф в том году придумывать не пришлось.

Зато в следующем году события сразу же повернулись круто. На экраны вышел фильм о подвигах майора-разведчика. Мы не вылезали из кинотеатров и знали сценарий наизусть. В драках сквозь зубы переговаривались сценарными репликами. Взрослые этого не смотрели, но на них и не рассчитывали, объектом Госкино были мы, пацаны. Между тем, появились крысы. В годы военного мора они расплодились на человечине и сплотились в подобие орды. Они форсировали Днепр в районе Кременчуга и стройными колоннами шли на Егупец. Каким образом стали известны их намерения — это непостижимо, но вера в титскую военную разведку через посредство пацанов стала безмерна, и город трепетал. Крысы злобно приближались, к их приходу было приурочено массовое выступление городских крыс, населению предстояло быть съеденным. Либо вымереть от туляремии. Либо бежать куда глаза глядят. А пока что из магазинов исчезли соль, мыло и спички, и кто-то погрел руки.

В этой увлекательной игре мы не могли долго оставаться в стороне. И — не остались.

Считается, что дети не могут быть мещанами и филистерами, это привилегия взрослых. Но мы были. Мы повторяли взрослых и — даже с эффектом усиления. Конечно, выродки всегда имеют место, знаменитый генетик сказал мне — «один из десяти». В соответствии с этим естественным законом класс наш на девяносто процентов состоял из эмпириков, позднее ставших ползучими. Понятно, что оставшиеся десять процентов учеников друг другом не швырялись. Если из десяти ты можешь выбрать лишь одного, приходится дорожить выбором. И со временем мы с Кирюш-

кой, по его инициативе, разумеется, затеяли дипломатическую переписку с изощренным оформлением документов и изысканным ритуалом обмена. Могу привести содержание типичной ноты: поскольку-де ваш вассал Крот (личность существующая) нанес несмываемое оскорбление (дал пинка в зад) нашему вассалу Коту (тоже действительное лицо, тупое легендарно: когда он выходил к доске отвечать урок, глаза его загорались малиновым огнем, а уши разворачивались к черепу почти под прямым углом; этот парень был рожден для референтов: ему можно было подсказывать шепотом с последней парты, ловил как локатор; думаю, теперь он председатель какого-нибудь комитета и кормит целую армию подсказчиков)... Итак, поскольку ваш подлый вассал обидел нашего вассала, наше Светозарное Солнцеликое Громонозное и пр. и пр. Величество предлагает Вашему Высочеству (не более!) — и далее что-то там предлагалось в зависимости от силы пинка, настроения владыки и от того, как было ему представлено дело, а также от желания накалять обстановку. Ну, словом, как в жизни. И опять я дал маху: в ответ на очередное наглое, хотя и безупречное по форме дипломатическое послание солнцеликого короля ответил ультиматумом. Ответа не последовало. Позднее один из вассалов Светозарного объяснил мне, что за ультиматумом автоматически следует война, и ноты делаются неуместны. Так прервалась и эта игра.

Теперь, процеженное годами, стало быть, устоявшееся впечатление о нем — одна из самобытнейших личностей. Подозреваю, что он был на редкость одарен. К тому же трудолюбив. Люди такого замеса входят в историю. Знания его удивляли капиталностью. В растениях и насекомых он был гигант. В камнях послабее. Знал, конечно, состав гранита и мог отличить исландский шпат от полевого, но недра его не волновали, он весь был в тайнах жизни, весь на поверхности Земли. А меня влекли глубины. Священный трепет охватывал меня, когда я читал о вулканах и землетрясениях,

этих таинственных движениях, этих диафрагмальных содроганиях и вздохах Земли.

О, геология, моя первая и неизбывная любовь...

Все это делает понятным тот факт, что в музее института титской академии наук (превосходный музей, должен вам доложить!) я был частым гостем. Там-то и застало меня известие о Кирюшкиной смерти.

Мы бродили по музею вместе с другим соклассником, моим близким другом, его мама работала в академии, и она, выйдя из какой-то внутренней двери, оглушила нас этим известием.

Отчетливо помню: в туманный, мокрый, мерзкий мартовский день я возвращался домой из геологического музея оглушенный. Факт несуществования более моего школьного товарища не воспринимался сознанием. Тем не менее к вечеру стал всхлипывать. Ночью ревел всюду, в подушку, конечно. Но дошло это до меня только когда увидел Кирюшку в гробу. Какая там кровь, какое излияние... Он был кипенно-бел, каменно-покоен. Его нос был все так же вздернут и — мертв. Мертв!

День похорон выдался, как и день смерти накануне, тепловатый, дождливый, задушивший солнце. На Лукьяновском кладбище (вскоре снесенном) мачеха билась головой об изножье гроба. Отец плакал молча. Под ногами чавкал размокший суглинок. Гроб опустили в могилу, завалили этим суглинком и из него же набросали расползавшийся, как желе, холмик. Еще несколько таких холмиков, почти плоских, полусравнялись рядом, в зарослях лозняка. Над ними торчали мокрые кресты с бесцветным мочалом на перекладинах, остатки венков, на табличках стояли пристойные даты. Кирюшкины даты были непристойны.

Позволь у Тебя спросить... Впрочем, ладно...

Люди стали расходиться. И тогда заплаканные голые ветки вдруг осветились закатным солнцем так пронзительно...

Наверно, это мой закатный комплекс. Или он родился во мне в тот именно день?

Мне следовало бы опасаться избитых мест. Все эти красоты в виде розовых закатов или голых ветвей, отраженных в мутных лужах, не мое амплуа. И по мере возможности я этого избегаю. Не всегда удается. Не думаю, чтобы в каждом сомнительном месте рукописи мне удалось сделать приличествующую случаю сноску о правдивости каждой детали и о том, что несмотря на театральную красоту, данная деталь действительно имела место. Но в данном случае — в последний, кстати, раз! — я такую сноску сделаю. Я сделаю это по двум причинам: потому что на редкость хорошо запомнил обстоятельства дела и потому что хочу напомнить обладателю рукописи: он держит в руках не роман.

Я не стану, подобно бесподобному насмешнику Лоренсу Стерну, заставляя его перечитывать полтора десятка страниц, чтобы уличить в невнимании. Просто возьму за руку и отведу к тому месту в рукописи, в котором Кирюшкино семейство охарактеризовано как социально беспомощное. Вот это место: «Кирюшка происходил из разночинной семьи, в ней уже по крайней мере три поколения предков были интеллигенты». (Если эта фраза вкупе с описанием Кирюшкиного жилья ничего не сказала читателю, то ему лучше обратиться к произведениям секретарей союза титских писателей.)

Интеллигентность осуждает на беспомощность. Как в жизни, так и в смерти. Умер Кирилл Зубаровский? Хм... А кто он? Ну, он... Нельзя ли насчет приличного местечка для могилки? Да кто он все-таки — старый большевик, заслуженный рабочий, лауреат чего-нибудь? Что, ученик восьмого класса средней школы? И это все?

И это — все. И похоронили Кирюшку вдаль от центральных аллей и добрых старых деревьев, на пустыре, в зарослях лозняка, в размокшем суглинке.

Теперь, когда документально установлено, что лозняк

был, что это реальная деталь, а не досужий вымысел пишущего, желательнее разобрать в этой самой детали. Ибо лозняк ранней весной зрелище угнетающее. Лозняк — это ивняк. Ива. Ивушка плакучая. По-украински — верба. Ее бледнозеленые ветви бессильно свисают или вздымают к небу тающе-узкие кончики. Однообразные косые линии. Еще далеко до вербного воскресенья, когда ветки оживляются пушистыми, как котята, комочками почек, и еще дальше до лета, когда на них никнут узкие грустные листья. Стоишь в зарослях ивняка, и кажется, что на свете нет ни гор, ни океанов, ни пустынь, только иссеченное розгами небо.

Хотя литература и запятнала себя фразами типа «с этого дня он стал другим человеком», надо признать, что несколько многозначительных дней случаются в каждой жизни. Постороннему человеку события этих дней кажутся обыденными и неадекватными произведенным потрясениям.

В своей жизни такие дни могу перечесть на пальцах одной руки. Естественно, ни день убытия в эмиграцию, ни день возвращения из оной не удостоены чести быть причислены к таковым. День похорон Кирюшки оказался первым событием в моей жизни.

Теперь это почти смешно. Но все же и теперь можно понять конвульсивные содрогания мальчика, на которого обрушилась глыба, опоясанная надписью «Неизбежная смерть вне очереди». Столько жутких ночей, оцепеневших часов, столько затрачено усилий не сойти с ума, чтобы потом, на излете жизни, всего лишь пожимать плечами, вспоминая... и уже едва ли не торгашеское отношение к оставшимся дням (успеть бы то-то и то-то) и едва ли не академический интерес: что же это такое — смерть? Возгоняется ли душа, преодолев барьер, в иное время-пространство, где ей воздается по заслугам? Или это всего лишь затухание колебаний при обесточивании слаботочного электролизного устройства? Ну ничего, скоро-де узнаю. А потом ловишь себя на том, что и эти мысли приходят все реже. Жизнь про-

жита и пережита, а смерть оплакана давно — еще при жизни цветущей и желанной.

Захотелось пить. Встал, включил свой торшер-самопал, зажег газовую конфорку. Настоял чашку крепкого чаю и — словно опрокинулся в школьные годы.

В четвертом классе возвращался из школы домой, неся в руке, а не в портфеле (чтоб все видели!) «Историю ихней партии», и об этом стыдно теперь вспоминать. А горд был как паровоз. Но чего стыдиться? Что меня, дитя, обманули?

И все равно — стыдно.

До четвертого класса мое обучение в школе свелось к таблице умножения и каллиграфии. Я был одним из худших. А реванш брал в чтении. На уроках мои клави ивановны, титские учительши младших классов, столь же невежественные, сколь и добрые, вызывали меня к доске объяснять урок и ставили пятерки с плюсом. Я плел соклассникам о походах Суворова и крушении Наполеона, разбавляя бль фантазией, да так, чтобы поцветистей.

В пятый класс пришел с четырьмя пахвальными грамотами и с уверенностью, что по-прежнему предстоит помогать педагогам в их текущей работе. С глубоким и ровным злорадством вспоминаю, что первую четверть пятого класса окончил с двумя двойками в табеле. Одна из них была по русскому языку (морфология). Солнце померкло. Человек я был тогда серьезный и стал подумывать о самоубийстве.

Так, вытеснив клави ивановных титского производства, вошли в жизнь мою мастодонты российского просвещения.

Русский язык преподавал у нас Дон Кихот. Это имя не является никаким подвохом: оно есть точное портретное описание Михаила Андреевича Мартынюка. Дон Кихот не был Рыцарем Печального Образа, он был Рыцарем Российской Словесности. Его очи прожигали нас насквозь, и мы, погружаясь в эти грозные воды, барахтались, шли ко дну и — всплывали. Мое плавание началось после безнадежного двухмесячного утопания. Мы писали диктант. После ря-

да двоек за устные ответы ничего хорошего в жизни я уже не ждал. Особенно от диктанта. И вдруг — четверка! Их в классе всего две было. Ноль пятерок. И тридцать двоек. Дон взглянул на меня с высокомерным удивлением.

Русская грамматика в изложении Дона, гремя огнем, сверкая блеском стали, втекала в нас огненными письменами. Не знаю, каков бы он был в литературе, до литературы XIX века мы с ним не дошли. Дон преподавал только в пятых-седьмых. А в восьмом пришла Бабушка-Старушка, она многое знала, да помалкивала. Времячко-то было трудное, миллионы интеллигентных дамочек матерились на земляных работах простуженными голосами, в теплой школе куда легче, и мы с ней талдычили про лишних людей, которых-де не может быть в нашем светлом титском мире.

Иногда, правда, нам удавалось втянуть БС в споры, но посягательства наши были не глубоки и не опасны для основ: ей всегда удавалось отбиться с ничейным счетом, а единственный случай зрелого политического протеста был нами постыдно игнорирован, ибо исходил от неожиданного источника. Сидевший на последней парте и вполне созревший в свои четырнадцать лет уголовник Шведский (по кличке Сорока) выдал, когда однажды Бабушка решила-таки заставить его ответить урок. Вопрос был банальный: за что Татьяна Ларина полюбила Онегина. Сорока всегда сидел в одной позе, положив подбородок на длинную красивую руку и глядя в пространство ненавидящими глазами. Не вставая и не меняя позы, он сказал:

— Мой дедушка говорит, что один дурак может задать столько вопросов, что все умники мира не ответят на них за тысячу лет. Вы знаете, за что любят? Я вот не знаю. И не надоело молотить про одно и то же? Вон инвалиды войны, защитники отечества, по улицам милостыню просят, а вы тут жундите про Татьяну с ее хлюстом.

Мы сморщили носы.

Где ты, мой соклассник Шведский по кличке Сорока? До третьей перемены мы иронически варьировали соро-



кин выпад, потом об этом было забыто. Конечно, инвалиды войны вызывали нестерпимую боль, но ведь это немцы их искалечили, кто же еще. Держава к тому времени уже владела нами полновластно, как ей было не верить...

Однако и калеки существовали, и пройти мимо этого факта было невозможно.

Обожженные с вытекшими глазами — это были летчики и танкисты. Безногие, безрукие, безглазые — это были моряки, пехотинцы, артеллеристы, связисты, саперы, шоферы... Их больше не различали по родам войск. Отработанный материал. Защитники Отечества превратились в его бремя. И Родина, согласная с супругом, тоже отказалась нести это бремя.

С плаката Тоидзе «Родина-мать зовет!» глядит в лицо каждого сына женщина несравненного благородства. Для плаката она позировала в грозном 41-ом. А в 46-ом и далее улицы Егупеца, Петербурга и самой Белокаменной были полны уродливых человеческих обрубков, выпрашивающих подавание. Они занимали места на перекрестках, на конечных остановках трамваев, у стадионов в дни матчей, на бабахолках и в других людных местах. Безногие передвигались на самодельных деревянных платформах с гремучими шарикоподшипниками вместо колес. Отталкивались колесными башками, обитыми галошной старой резиной, или просто руками, земля была близко...

Сперва они просили в своих нетленных тельняшках, гимнастерках, шинелях. Недолго однако. Проблем в стране было навалом: ни хлеба, ни топлива, ни одежды, миллионы сирот и больных, но нет приютов, больниц, врачей, медикаментов, народ голодал, зато срочно сооружали атомную бомбу, и где-то — совсем рядом, на Украине, в Литве — шла вооруженная борьба, людей хватили, стреляли, ссылали... Но среди этого хаоса от кого-то не укрылось, что инвалиды войны попрошайничают в той самой форме, в какой проливали кровь за Родину-мать. И они переоделись в обтрепанное штатское с чужого плеча, в обноски нищей страны. И

сразу перестали быть инвалидами войны, а стали просто нищими калеками.

Не оттуда ли, как стремление к искупительной жертве, тянется мое нищенство?

В дождь они сидели на мокром асфальте, зимой на снегу. Я думал, что это они нарочно, чтобы усилить впечатление. И ужасался, что идут на это, словно не боясь простудиться и умереть. Много лет должно было пройти, прежде чем я понял, что они НЕ боялись: они хотели умереть! И умирали, но медленно и долго. И не все. И те, кому не повезло, продолжали сидеть на асфальте или на голой земле. Одни молча, сурово глядя перед собой. Другие, устав от бесполезного ожидания и потеряв надежду на сочувствие, бесстыдно заголяли синие культы, тянулись, хватили за платье и выкрикивали хриплыми голосами: «Братец! Сестрица! Поддай герою войны!» Из синего неба их палило солнце, из низких туч кропил унылый дождь, из седых облаков валил снег — они сидели. Им некуда было деться от красот природы. Надо было сидеть, чтобы набрать на водку. Водка была все, что оставалось в жизни. Ни женской любви, ни дома, ни общения. Ни владения собственным телом. Ни книги. Ни мысли. Только водка. Но пенсия, выделенная Родной-матерью, не предусматривала водки. Этой пенсии могло хватить лишь на то, чтобы прилично поесть три раза в месяц.

Теперь раздобревшая на крови сыновей Родина-мать понастроила по всей стране пышные мемориалы Неизвестному Солдату.

Мать, где твой мемориал Неизвестному Инвалиду?

(Знаю, что пора остановиться...)

Слепцы — старая и печальная профессия на Руси. Самые предприимчивые из слепых пели в поездах. Но то были другие песни, не те, что бодро гремели по радио. Инвалиды пели о солдате, которого изуродовало так жестоко, что его не узнала семья, не приняла невеста, оттолкнул друг. Им подавали, их гнали. Иные из них доводили публику до слез.

Были и такие, что доводили до бешенства.

Как рану в груди, ношу память о тех, кто оставлял прохожих равнодушными. Молчаливая армия калек...

БОЖЕ. ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСИ!..

Я стыдился их, выпрашивающих подаяние, а потом пропиающих его и плачущих пьяными слезами. Они были недостойны своего великого времени, своих великих современников, своей великой Родины-матери, Но я не мог понять, почему так болит все внутри, когда вижу их, почему отдаю этим молодым молчаливым калекам свои завтраки и пятаки. Мне было стыдно, что каждую ночь ложусь в постель, пусть это и раскладушка в переполненной комнате, и укрываюсь одеялом. Стыдно, что ем горячее три раза в день. Стыдно, что читаю книги. Что нечего им дать, кроме завтраков и пятаков. Что у меня не месте глаза, и руки, и ноги...

Но что наш стыд... Был некто или было нечто, чье чувство оказалось несравнимо с нашим. Оставшееся в долгу Отечество, или Родина-мать, или оба они вместе, этот фантом-гермафродит сбросил маску. Там не оказалось лица, там был аппарат, азартный игрок, швырявший в молотилку войны своих граждан, не зная и не спрашивая счета, и цены, и суммы долга. И стало Отечество наше свободное, дружбы народов надежный оплот, расплачиваться за долги своим, аппаратным образом. Государственный институт слухов, филиал Косого Глаза Бдящего, стал распускать об инвалидах легенды: все они спекулянты, и пьяницы, и насильники, и денег у них куда больше, чем у любого трудяги с руками-ногами, и вообще это счастье — быть калеккой-инвалидом в нашей солнечной стране, а они, неблагодарные, бьют граждан молотками по голове, натравили крыс на Егупец и оторвали кусок Солнца.

Когда здание слухов было воздвинуто, на калек началась милицейская охота. Они портили нам облик городов. Они разрушали целостность нашего рая. Они вызывали сомнение в нашем светлом сегодня.

Их избивали, запирали в застенки инвалидов тюрем, их

вывозили прочь из городов. Они сопротивлялись, но что державе их сопротивление, она и не такое ломала...

И вдруг все образовалось. Обрубки исчезли. В больших городах они исчезли едва ли не в один день.

Куда?

Боже, Ты знаешь, куда они исчезли? Ты, Всеведущий, обязан знать. Не сообщай мне, если не хочешь, но — ЗНАЙ. Все прощу, все злодеяния века — Холокост, Хиросиму. Во всем может таиться какой-то скрытый от нас, зато ведомый Тебе смысл. Но не в этом. Это простить невозможно.

С симпатиями к ветеранам связан еще и такой эпизод школы. То ли в шестом, то ли в седьмом среди нас, благополучных мещан, появился и скромно сел на последнюю парту парень лет девятнадцати. А нам было по 13-15. По нашей возрастной шкале он слыл взрослым. И в его-то возрасте по собственной охоте сесть за парту? И готовить уроки с таким прилежанием? Да еще и фамилия у него была какая-то смешная, словно кличка — то ли Рыбоглаз, то ли Утконос... Выбрит, опрятен, серьезен. Гимнастерка, сапоги... Худ, поджар и, видимо, очень силен. Где жил, чем жил — неизвестно. Ни с кем не сблизился, держался особняком, и я каким-то непостижимым образом почуял, что он из мира, жестоко опаленного войной.

Учился Вырвиглаз неистово. Работал, а не учился. Доновы чудовищные диктанты писал на достойные трояки. Даже в английском успевал. По вызову учителей вскакивал словно на армейской проверке, отвечал четко, а ежели не знал, то не нырял глазами и не делал нам таинственных знаков, а говорил прямо: «Этого не знаю». Однажды на перемене подошел ко мне, назвал по фамилии и сказал: слушай, помоги с математикой, неладно у меня, пропустил много.

Не моргнув глазом, сознаюсь: в нашем классе по математике я был одним из первых с конца. Но — редкий в моей жизни случай! — воздержался от комментариев и сказал: заметано. И мы стали после уроков вместе ходить ко мне домой и готовить уроки. Конечно, раньше обедали, и как-то

он сразу перестал дичиться и ел наравне со мной. Кто знаком с голодом, распознает голодного, как бы тот ни скрывался. А скрывал он это мастерски: ел не спеша, хлеб разламывал неторопливыми движениями... Но касался-то он пищи, словно влюбленный непорочной невесты.

Отношения у нас не были сентиментальными, парень был твердый орешек и не раскисал. Однажды принес мне в подарок превосходное издание «Утопии» сэра Томаса Мора. Да еще как-то олух-мальчишка подставил мне, ротозею, ножку, и я кувырнулся башкою в сугроб, а когда вынырнул, то увидел обидчика висющим в воздухе вниз головой, и выражение лица Шилохвоста меня испугало, это было даже не озверение Кирюшки Зубаровского, это было что-то совсем другое, с такими лицами, наверно, ходили в штыковую атаку, и я завопил: оставь его! Дикобраз опомнился и брезгливо отпустил мальчишку.

С полгода мы занимались, вызывая насмешки половины класса. Потом он исчез так же внезапно, как появился. Еще через полгода я получил от него красивую поздравительную открытку к какому-то празднику, обратного адреса не было. И все. Одна из мимолетных встреч, обогатившая меня чтением Мора.

Интересно другое: когда мы, постаревшие мальчишки, спустя четверть века встретились по поводу выпуска, его припомнили все. Не так уж, стало быть, оказался он мимолетен. И все посмотрели на меня. Но я ничем не смог удовлетворить любопытства своих соклассников. Кто скажет, в какой из передряг, катастроф или спецзаданий сгинул молодой парень, подданный и военнообязанный титской державы...

В отличие от Бабушки-Старушки биологичка Екатерина Доминикиевна Нарцышко, упомянутая как Сова в скудном жизнеописании Кирюшки Зубаровского, не была дипломатична. По всей необъятной стране с гиканьем и рыком громили генетику. Была в наше время такая буржуазная лженаука, призванная расчлнить единство пролетариата

в его героической борьбе за раститское будущее, а Совушка на уроках роняла намеки о неслучайности нашего сходства с родителями, о наследственности культуры и, особенно, о переменчивости взглядов в науке, которая подвержена моде (или руководящим указаниям, как то было во времена инквизиции) ничуть не менее, чем фасоны женских шляпок. Вполне сознаю никчемность своего ликования, на общем фоне единичный факт немного стоит, однако фактом быть не перестает: на Совушку никто не донес, и к тридцатилетнему, кажется, юбилею своей педагогической деятельности она была удостоена высокой правительственной награды. Бывает.

Английский мы учили как язык потенциального врага, а к преподавательницам относились изощренно. Английские наши проказы носили специфический характер потому, что предмет был молод и учительницы тоже.

В самом начале восьмого класса наш босяк Гарик поставил сценку, и она была мастерски сыграна без единой репетиции. Посреди урока дверь класса вдруг широко распахнулась, в проеме встали двое незнакомых парней и сурово уставились на нашу учительницу. Эта? — спросил один, указав на нее пальцем. Нет, сказал другой, та была в розовых трико. Дверь с треском захлопнулась. Все мы, включая учительницу, остались сидеть с раскрытыми ртами, и только Гарик реагировал мгновенно. Он выскочил в проход между партами и сделал охотничью стойку: «Поймать хулиганов, Ирина Антоновна?» Сядьте, Римоловский, с досадой сказала «англичанка», скрывая смущение. Двадцать пять лет спустя на встрече класса мы зря допытывались у Гарика, как он ухитрился провести в школу двух посторонних. Гарик ответил «уметь надо» таким тоном, словно собирался повторить номер. Но через год, пользуясь своим умением, он укатил вместе с семейством на далекий англоязычный континент. Как, должно быть, он пожалел там, что в свое время не учил английский...

С географией у нас вышла история.

Где-то выше я уже упоминал — а если нет, упомяну при редактировании, — что наши развлечения не отличались разнообразием. Угорелая беготня по коридорам и по тесному школьному двору, метание галошами в классах. В мокрую погоду только сие занятие доступно было, и, когда удар приходился подошвой плашмя по лицу (куда и метили), это вызывало секундную остановку жизнедеятельности всего организма, небезопасные опыты на базе остатков военных припасов, по этой части отличался тихий двоечник Валена-Пиротехник, самый маленький в классе. На него никто и подумать не мог, уж такой был тихоня, мы его берегли как зеницу ока и снабжали самыми высококачественными подсказками. Ему персонально подсказывали не я или там Сашка Галицкий, а такие люди, что даже и теперь их имена произнести не смею, да-с, поскольку Валена был нашей последней надеждой на срыв урока, и он оправдывал доверие, он звучно разнообразил наши будни то пышным султаном белого дыма, то выбитым окном, а то и развороченной горячей партией... Ну еще ловля школьных знаменитостей, затаскивание к нам в класс, где на учительском столе их насильственно, сами понимаете, раскладывали, сняв штаны, и злорадно вымазывали гениталии высококачественными титскими фиолетовыми чернилами, густыми и абсолютно несмываемыми... ну и тому подобное.

Но с географией был связан случай. Два года мы благополучно скользили по морям и континентам. Степан Степанович Емец по кличке Немец, возможно, и происходил из таковых: педантично-аккуратный, сдержанно-добродушный, осанистый, с подстриженными усами а ля Генрих Густавович Нейгауз. Предмет знал. На дому у него была собрана коллекция заморских раритетов. Но на уроках он в экзотику не вдавался, не то было время. Преподавание географии шло под тем же лозунгом «Изучи потенциального противника» и под несмолкающую песнь «Летят перелетные птицы а я остаюсь с тобой родная моя сторона не нужно мне солнце чужое и Африка мне не нужна». Все же Емец

был крепкий педагог старой школы и дело свое делал. Может, не так захватывающе, но странствовали мы, пока в седьмом классе вместо Немца пришла Сучок. Надо бы сказать — пришел. Или — Сучка. Но так не говорили, куда там, ей до этого, как нам до Папы Римского. Ибо Сучок была дама, и не простая, а с двумя высшими образованиями. И это в стране, где в означенное время даже одно было редкостью, к тому же малоуважаемой. Однако эту деталь Сучок, загипнотизированная собственной ученостью, пропустила мимо, что ее и погубило. Наш нельстивый вывод был — «переучилась».

Кличку географичка получила за сказку с моралью. Сказка была о неразумном человеке, пилившем сучок, на котором сидел. Мораль была: мы и есть тот самый человек, ибо шумом в классе не даем ей вести урок и донести до нас погребенные в ней драгоценные знания, добытые ею тяжким трудом в двух институтах, которые она окончила с двумя дипломами, и таким образом лишаем себя каких бы то ни было надежд на будущее, ибо человек, не вооруженный знаниями... словом, мораль длиннее сказки.

Что касается будущего, тут она оказалась права. То ли мы себя лишили, то ли нас лишили... словом, сбылось. Что же до знаний, то мы их в ней не обнаружили. Если они и были, Сучок обладала исключительным умением их скрывать. Пресловутая сказка была единственным цветком в унылой тягомотине ее уроков. Посему кличка закрепилась и пошла гулять по школе. Стихийно. Она переполняла наше высоченное школьное здание, облицованное серыми бетонными рустами. Сучок, деловито говорили мы, заталкивая друг друга в класс после звонка с перемены. Сучок, восторженно визжала малышня, вообще ничего общего с географичкой не имевшая, притом и визжавшая безо всякого повода, когда Сучка вокруг и в помине не было. СУЧОК — выплеснулось наконец из школы и распрострелось аршинными буквами на ее фасаде на немыслимой высоте, вровень с куполами Андреевской церкви — под средним окном учительской!

Попытались стереть — не тут-то было. Буквы оказались не написаны мелом, а взрезаны в бетонный руст. Первая высотой в полметра, вторая сорок сантиметров, третья тридцать и так далее, словно писавшая рука слабела, продвигаясь слева направо и теряя опору в плече. Скандальное слово повисло на челе престижной школы, и не было надлежащих ассигнований, чтобы путем реставрационных работ вернуть фасаду девственную строгость.

Развитие событий инспирировала сама Сучок. Нет бы игнорировать факт. По моде времени она потребовала следования на педсовете.

Педсовет был собран в расширенном составе с участием пионервожатой и комсорга школы, впоследствии знаменитого математика, диссидента и эмигранта. Был приглашен также староста нашего класса Севка Вильняк, впоследствии видный доктор технических наук, скрытый диссидент и внутренний эмигрант.

Наш класс был удостоен представительства по той причине, что примыкал к учительской. Снизу она была изолирована двухсветным залом физкультуры, в котором едва ли не в три смены бдел физрук Яхнин со своими воспитанниками, а этим беднягам было не до шалостей, за единственный трояк незабвенный Лев Семенович безжалостно отстранял от тренировок: он воспитывал спортсменов-интеллектуалов.

Сверху, с четвертого этажа, до пространства под окном учительской можно было добраться, но — с крыши было бы проще. Слева к учительской примыкало техническое помещение, всегда наглухо закрытое. А справа, милости просим, наш класс.

Но помилуйте, нужна по крайней мере восьмиметровая рука, чтобы дотянуться из ближнего окна нашего класса до пространства под средним окном учительской!

Шест!

Но помилуйте, используя шест, вы не получите таких округлых букв!

Тренировка.

Тренировка ради такой мелкой цели? Разве что самый длинный наш фитиль Шведский взял Валену Губенчика, высунул в окно и, держа за ноги параллельно земле, написал им это нехорошее слово.

Вильняк, прекратите остричь!

Ах так, рассвирипел наш староста, ну так знайте!..

Тут он им выдал. Думаете, мы не знаем, что вы друг друга нашими кличками зовете? Кто из вас за глаза говорит «Михаил Андреевич» или «Мартынюк»? Все говорят — Дон Кихот. И химика зовете Босяком. И Сучка Сучком. Сами вы это и сделали, вам ее занудность и два ее высших образования во как осточертели. И нечего валить с больной головы на здоровую.

С Сучком сделалась истерика. Оказывается, она и не подозревала, что она зануда. И что все учителя зовут ее ученической кличкой. Чего уж тут ждать от учеников! И что в самой учительской обосновались оппортунисты. И что вообще люди такие.

Такова была история с географией, а конца я не помню.

Зато помню конец истории, хотя с историей никаких географий у нас не было. Историю нам долдонил сам директор школы, никогда не трезвый заслуженный работник титского просвещения с краткой орденской планкой на кителе и с меткой кличкой Плебей, приклеенной нашими более интеллектуальными предшественниками. Потом нашего Плебея сменили другие плебеи в юбках или брюках, и они бубнили такую чушь, и таким языком, и с таким скудоумием!.. Музы Клио, Эвтерпа и прочие были немые. Да мы и не подозревали, что какие музы имеют отношение к бессмысленному скоплению имен и дат. И так продолжалось до тех пор, пока в девятом классе (увы, так поздно, но, благодарение небу, это все же произошло, прежде чем мы закончили школу) — в наш класс вошла маленькая, конопатая, рыже-седая женщина в очках с такими толстыми стеклами, что сквозь них глаза ее казались булавочно-крохотными, —

и мы пропали. Время урока прошмыгивало жутко коротким скачком. Как жизнь. Тогда, к счастью, мы ничего еще не знали о жизни и не изощрялись в аналогиях. Но мы вдруг увидели жизнь в истории. Таинственные кулисы распахнулись перед нами — вдруг! Это было чудо. «Рассказывайте, Рахиль Моисеевна, мы будем слушать!» — ревел со своей последней парты закоренелый двоечник Сорока-Шведский после звонка на перемену.

Не представляю, какая награда учителю может быть выше этой.

Но титская власть исхитрилась и отметила заслуги Рахили Моисеевны Аксельрод воистину высочайшей наградой, какой может удостоиться человек: в следующем году она была уволена *без права преподавания в школах*. Больше мы о ней не слыхали.

Почему в надлежащее время я не провел расследование о судьбах моих учителей? А теперь... А что — теперь? Еще не поздно.

Школа. Растерзанные неповторимые годы. Раздельнополюе обучение. Нас калечили с далеким расчетом. Не слегка, не кое-как, а навечно, и на всю глубину вколачивалось в нас сознание вины за плотскую греховность. Вживлялся проводник, делавший нас на всю жизнь людьми, управляемыми по радио. Вытравливалось все естественное — и это при такой-то немислимой плотности населения! Мы уже знали, каким способом созданы, но старались об этом не думать. Некоторые нашли выход в предположении, что были взяты из приютов в голодные годы, когда родители вымирали, оставляя детей. Это предположение стало массовым психозом, я тоже отдал ему должное. Одна девушка из дружественной школы хлопнулась в обморок, когда хулиган Гарик на пальцах объяснил ей, как ее делали. До этого школьного вечера на пушкинскую тематику сей факт, оказывается, был ей невдомек. Все знания по биологии — тычинки-пестики и органы размножения насекомых и рептилий — благополучно скользнули мимо ее рассудка. Не потому, что рассу-

док у нее был особенным, всех нас штамповали по единому образу. Вроде бы учили — и в то же время замораживали. Нам давали факты, но не велели их истолковывать, это было не наше дело. Нас рвали на части. Земное тянуло к себе, а школа тащила в небеса. Из нас растили гладиаторов. Политический горизонт сужали до размеров булавочного укола, еще одного, пусть маленького укола в тело проклятого капитализма. Но из окон школы перед нами раскрывались необозримые дали. Как наследственность, семья и окружающие люди, так и пейзаж способствует формированию личности. Тот же человек, в той же семье и в том же окружении вырос бы разным на горах и в дремучих лесах. Мы росли на просторе, и тугой ветер свежил наши лица.

Несложно вырастить террориста, который принесет свою коротенькую жизнь в жертву. Но вырастить личность, жертвующую не в единый миг, а всю жизнь, сперва на войне, потом в труде, в быту, обобранную в еде и питье, даже в сексе, в активном возрасте и в пенсионные годы, и умирающую не с проклятием, а с благословением на устах... Крепка титская власть...

Нас учили по принципу: человек, создавший что-то сам, всегда будет ценить созданное другими. И это в стране, которой правительство ничего не создавало, кроме разрушительной индустрии, и хладнокровно искромсало три поколения просто так, мимоходом, ради достижения своих целей. Риторически звучал бы вопрос о том, достойно ли это правительство людей, которыми правит. Подлинный вопрос таков: должно ли и впредь вкладывать в души тот идеальный кристалл самопожертвования, который так облегчает работу правителей?

Школа, как дальнобойная артиллерия, наносит удар по далеко отстоящим целям. Ваш паровоз вперед летит, но мост, соединяющий берега, уже вдребезги. Да вы и сами это сделаете — раньше или позже. Я помогу вам сделать это раньше. Меньше будет калек, физических и нравственных.

Добрая моя старая школа.

Сегодня я наношу ей смертельный удар.

Название эссе — «Просветительские письма».

Рискованно, черт возьми... Заметно, но очччень рискованно. И название...

Вдруг ввалились Пушкин с Жуковским, сбросили свои крылатки, поставили на цементный пол цилиндры, уселись чаевничать. Слушай, старина, трагически сказал Пушкин, я тебя обманул, но и сам обманулся, на свете счастья нет, но нет также ни покоя, ни воли, боюсь, этого вообще не существует в природе. Какая новость, сказал я. Кстати, не объяснишь ли мне, почему покончил самоубийством не дрогнувшей дантесовой рукой? Не знаю, глупо сказал он. А я знаю. Потому что понял, что из национального поэта превращаешься в подонка. Что, с ужасом спросил Александр Сергеевич. А то! Чаадаева забыл? Предать лучшего друга так славно! Что, запаматовал? А стихотворение «Туча» помнишь? Последняя туча рассеянной бури одна ты несешься по ясной лазури одна ты наводишь унылую тень одна ты позоришь ликующий день, на всю жизнь мы заучили историю твоего предательства! После всех восторженных «Чаадаеву», «К Чаадаеву»... Славно, братцы, славно, братцы, славно, братцы-егеря, славно друга передать в руки белого царя... Жуковский, словно не слыша, сокрушенно качал головой и повторял: ах, голубчик, да разве можно публиковать такие письма да в такое время, это неосторожно, это так неосторожно, тут уж немудрено прослыть сумасшедшим... Да вы меня никак с Чаадаевым путаете, Василий Андреич! — раздраженно сказал я. Он умолк, но продолжал качать головой. Вы что же, господа хорошие, сказал я, пришли сообщить мне все эти благие вести — насчет счастья, покоя и воли, здравомыслия и осторожности? Так это я и без вас знаю, как знаю то, что и ваши, и мои утверждения заведомо ложны. Просто я люблю эти строчки и буду их повторять, куда жив, и плевать мне на все мнения, на авторские в том числе. Сделав что-либо, автор не властен более над своим творе-

нием. Вполне вероятно, что другие увидят в нем нечто такое, чего он вовсе и не собирался утверждать. Посему ежели не уверен — сожги. Вопреки чьим-то досужим измышлениям, рукописи отлично горят. А не сжег — не мой. Учтите, первой заповедью в следующих скрижалях станет: *автор, будь осторожен!* За примером недалеко ходить, сам Господь Бог наш... прости меня, Господи... И чешите отсюда. Видите, у меня дама. Адьё!

Я шагал по своему жилищу и в конце каждого прохода злобно пинал старый половик у изножья тахты, но Анна не просыпалась, и в раздражении я сперва этого как-то не замечал, а когда заметил, то снова испугался и полез к ней слушать дыхание. Она дышала. Я довольно жестко тиснул ее нежную грудь. Анна перевернулась с боку на живот и, не просыпаясь, подвигала бровями. Я разделся, погасил свет и лег.

Во сне видел много такого, чего предпочел бы не видеть. А поверх всех чудищ души моей плясала Анна в костюме вакханки, вдоль и поперек обвивала меня прохладными руками и ногами, высовывала змеино-гибкий нежный язычок, а за ним открывалась ее рифленая розовая гортань, глубокая, как ад. Потом, чтобы уже окончательно добить, спросила: а такое видел? И, словно чулочек, сложилась на чреслах моих эластичным комком с цветным бантом на макушке. Земля и небеса разрывали меня надвое, я парил в облаках, но рядом по земле — повторяющийся сон! — верно трусил мой старый добрый пес и поглядывал на меня мудрыми глазами. Потом я услышал зовущий его голос жены и рванулся и — проснулся. Глаз не открыл, стремясь обратнo в сон, где был голос и бежал сквозь вечность мой добрый пес.

Не вышло. И я почувствовал присутствие чего-то постороннего. Враждебность наполнила меня. Сквозь диффракционную щель едва разлепленных век проступило размытое изображение Анны, она стояла на пороге, уже одетая, и нерешительно глядела на меня. Вспомнил ее такой, какой она

предстала во сне, и невольно дернулся. Она не уловила моего порыва. Кажется, я ощутил ее мучительную борьбу с собственным телом, но больше не шевелился. Так продолжалось с минуту. Анна вздохнула и вышла.

Вот это событие! С чего бы вдруг она боролась с собой и берегла мой сон?

---

«ЭТОТ ЮМОР РАСКРЫВАЕТ МИРИАДЫ ИСТИН»

Рональд Рейган

Д.ШТУРМАН и С.ТИКТИН

## **СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА**

**Издание второе  
исправленное и дополненное**

вышло в свет

В книге 543 стр. Она содержит около 1750 анекдотов с 1918 по 1987 гг. включительно, разбитых по 44-м тематическим разделам, и иллюстрирована 45-ю рисунками. Каждый раздел имеет аналитическое вступление. Имеется также общее введение. В начале книги помещена переписка президента США Рональда Рейгана по поводу анекдотов из коллекции авторов книги.

*Цена книги 25 долларов, включая пересылку авиапочтой.*

Чеки следует посылать по даресу:

S.Tictin, Greenspan St. 12/6, Misrakh Talpiot 422  
Jerusalem 93802, Israel

---

Григорий МАРК

## **УБИЙЦЫ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО**

**Год 1926**

И каждое Божие утро  
Убийцы за правое дело  
С глазами, сведенными правдой,  
Единственной правдой на свете,  
В прихожих бросают шинели,  
Пружинистой четкой походкой  
Проходят в свои кабинеты —  
Убийцы за правое дело.

И каждое Божие утро  
Шуршат осторожно чулками  
Испуганные машинистки  
В прокуренных желтых приемных.  
Колышется белые блузки



Над ворохом тайных инструкций,  
И корчится в серой бумаге  
Кириллица страшных приказов.

И каждое Божие утро  
Убийцы за правое дело  
Садятся на жесткие стулья.  
Топорообразные лица  
Опущены в пухлые папки.  
Шевелят большими руками,  
Решают судьбу имяреков —  
Убийцы за правое дело.

### **СОВРЕМЕННОКИ**

Простодушные народные завсегдатели.  
Тщательно обдумана каждая глупость.  
Желваки ходят по каменным скулам.  
А уж пядей во лбу и — вовсе не счесть.

Интеллектом не изуродованы  
Родные, открытые, красные лица.  
Смотрят, прищурившись, в светлое будущее.  
Свои ребята — с детства их знаю.

Сам таким чуть было не стал.

### **КАЗЕННЫЙ КАЛЛИГРАФ**

Каллиграф с удлинённым носом,  
С глазами из жидкого олова,  
В длинной комнате, завешенной паутиной,  
С наслаждением выводит косые буквы  
На давно отсыревшей бумаге.

Язык чуть высунут набок.  
Фаланги костлявых пальцев  
Мертвою хваткой сцепились в перо.  
Угловатый череп разрезан надвое  
Сверкающим на солнце пробором.

Над затылком — горящий воздух.  
Удушливая тяжелая благодать  
Стекает на грязный паркет.  
Казенный каллиграф с недоразвитым сердцем  
Заполняет собою пространство.

### **ЧЕТЫРЕХГРАННЫЕ СЛОВА**

Когда я сходил с ума, сползал  
Вниз по скользкой лестнице, заросшей мхом,  
Нищие по сторонам стояли, как статуи,  
И смотрели с ненавистью в мое лицо.

Глаза мои запряваны в плечи.  
Шевелятся губы у статуй.  
И четырехгранные слова, как бруски,  
Вылезают у них изо ртов.

В небе, высоко над моим горбом,  
Людоед свое картавит с трибуны.  
Злые, матерные ругательства,  
Как камни, летят мне в спину.

Внезапно лестница обрывается.  
В конце пути хохочущая старуха  
Трясется беззвучно на своих костылях.  
И сразу за ней — зеленая вода.

Почти не осталось ступенек...

**ГАТЧИНА**

Кириллица. Просторный прилизанный парк.  
 Заскорузлые буки, и вежи, и яти,  
 Корнями проросшие в дикую почву,  
 Прикрыты изящной словесностью.  
 У самого входа каллиграф-садовник  
 Подбирает с благоговением  
 Листы у подножия великого бука  
 Прародителя местной культуры.

В центре парка симметричный дворец  
 Самодержца всея и прочая.  
 Лужайка с кустарником мелких стихов.  
 Наследник в матросской форме.  
 Фарфоровые обреченные глаза.  
 Велеречивый клевет застыл над ухом наследника.  
 Подагрой сведенные пальцы  
 Сжимают учебник теории зла.

Чуть поодаль по аллеям гуляют  
 Припудренные суффиксы  
 Со словарями, прижатыми к белым манжетам.  
 Перебрасываются снисходительно  
 Оттенками здравого смысла.  
 Вдоль аллей подстриженные кудрявые деревья.  
 Каждый год они приносят одни и те же плоды,  
 Которые очень ценятся населением.

Если долго идти по любой из аллей,  
 Вдруг находишь себя в первобытном лесу.

Затравленные местоимения  
 Бродят между коряг и корней.  
 Суется, путаются под ногами  
 Прилагательные, готовые на все.  
 Наталкиваются друг на друга. Ругань.  
 Каждый ищет предлог — показать себя.

Страшно...

---

**ИСРАЭЛЬ ШАМИР**  
**«СОСНА И ОЛИВА»**  
 АНТИ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИЗРАИЛЮ

ИСРАЭЛЬ ШАМИР, журналист и путешественник, работавший на Дальнем и Ближнем Востоке, в Европе и Африке, автор книги о Японии «Похождения Ионички Зайса», «Путеводителя по Египту», переводчик и комментатор Ш.И.Агнона («В сердцевине морей») и Джеймса Джойса («Улисс»). Уроженец Новосибирска, выпускник физматшколы СОАН и НГУ, Шамир приехал в Израиль в 1969 году, служил в армии, был пресс-атташе Социалистической партии (МА-ПАМ) в парламенте, работал во многих газетах, журналах и на радио, от Би-Би-Си в Лондоне до «Гаарец» в Тель-Авиве. «Сосна и олива» — своего рода анти-путеводитель по Израилю, его прелестям и проблемам. По мнению израильской журналистки Нели Гутинной, это — «самая важная русская книга, написанная в Израиле».

**Цена — \$20 + \$1 за пересылку. Чеки и заказы высылать по адресу:**  
**I.SHAMIR, P.O.BOX 8462, JAFFA, 61083 ISRAEL**

---



А.ЛЕИН

## ВСПЛЕСКИ РАССВЕТА

\* \* \*

Где снов разбрелись караваны,  
Где небо в сомненьях кричит,  
Бессоница ставит капканы  
На темных дорогах ночных.

И сыпятся спелые звезды  
Из облака желтой луны,  
Лохматый качается воздух  
Волной непрощенной вины.

Венки фонарей за окошком  
Вплетаются в улиц венки,  
Как книга с потертой обложкой  
Прочитана временем ночь.

## ВСПЛЕСКИ РАССВЕТА

99

\* \* \*

Дожди, как будто метрономы  
В унылых ритмах октябрей,  
И солнце — сноп сырой соломы  
Горит в тумане на заре.

Разбито зеркало у лужи  
И грусти дым на облаках,  
И парк опять уже простужен  
Стоит на всех семи ветрах.

Отзолотились листопады.  
И слезы осени — дожди  
Вспоминаньем лихорадят  
Неуспокоенность души.

\* \* \*

Золотая рыба солнца  
В белых сетях облаков,  
Горизонта молоко  
Вдалеке неслышно льется.

На задумчивости леса,  
Где волшебники живут,  
Сказок добрых там уют  
С принцем юным и принцессой.

Голубое королевство  
Замечтованное там,  
Пестрой радуги фонтан  
Непосредственности детства.

Согревает утро солнце  
Излучением боков,  
В сетях белых облаков  
Золотая рыба бьется.

Мы — рабы, галера наша —  
Самомнения обман,  
В сердце боль несем от ран  
Самолюбий в буднях павших.

Наше рабство — заблужденья,  
Наши цепи — вера в ложь,  
И бывает, часто нож  
Глаз открытых откровенней.

Мы надеждами живем  
Сокровенности свершенья,  
На коленях униженья  
Мы несбыточного ждем.

Непредвиденности клан  
Ожиданья сплющит чашу.  
Мы — рабы, галера наша —  
Самомнения обман.

\* \* \*

Весь вечер мучился рояль  
Салонным безрассудством,  
Угодничеством угощал  
Хозяин, как искусством.

В неразберихе голосов,  
Как ночь по переулкам  
Страданье музыки росло  
В растоптанности звуков.

Оно к сочувствию звало,  
Оно — напоминанье:  
Любое в жизни ремесло  
Питается вниманьем.

Когда веселья гул увял  
И ночь рассвет расплавил,  
Забывтый всеми спал рояль  
С улыбкой мертвой клавиш.

\* \* \*

На голове зари платок  
Дождя холодного завязан,  
Горит осенних дней венки  
В листве костров разнообразья.

Воспоминаний светлый дым  
Завис на смутном горизонте,  
Величественные сады  
В шелках нарядных позолоты.

И, кажется, печаль сама  
Забывла нам прислать приветы,  
Не дай мне Бог сойти с ума,  
Глядя на праздничность рассвета.

\* \* \*

Оспой дождь по аллеям,  
По асфальту бежит.  
Осень. Ветер шалеет,  
Желтых листьев стрижи.

То взметаются выше,  
То внизу у земли,  
И деревья как лисы  
Пробегают вдали.

Вот и ветры присели  
Отдохнуть у травы  
С чемоданом метели  
Отгоревшей листвы.

Желтой осени трава,  
 Дня смирившаяся старость,  
 Небо — темная Сахара,  
 Звезд глазастых караван.

Речки всхлипнула волна,  
 Вечер парк запаутинил,  
 Раздвигает ночи тину  
 Тихо месяца фонарь.

В сумке облака дожди,  
 Ожидаемость погоды...  
 Новой осени икона  
 В раме времени лежит.

\* \* \*

Крылья тумана,  
 Утро, река,  
 Лебеди спящие,  
 Как облака.

Берега руки  
 Молча лежат,  
 Лодки, как будто  
 Семья медвежат.

Ива разглаживает тишину,  
 Рябь водяная разбила луну

Всплески рассвета  
 В ресницах зари,  
 Краской стыда  
 Залились фонари.

## ОКТЯБРЬ

Листья слетели с деревьев,  
 Птицы покинули гнезда,  
 Хмурого неба кочевья  
 Бродят по осени поздней.

Ветер и дождь морозящий,  
 Руки холодных туманов,  
 Август забыт, как вчерашний  
 День откровенных обманов.

Листья весной возродятся,  
 Птицы вернуться в гнезда...  
 Рейсовый ходит поезд  
 Во времени и пространстве.

\* \* \*

Дни короче с каждым днем,  
 С каждым днем года короче,  
 И мечта уж не морочит  
 Душу верой и огнем.

В землю брошено зерно,  
 Обещающее всходы...  
 Льется кровь, как будто воды,  
 Сгнило все в земле давно.

И надежды колосок  
 Не поклонится под ветром,  
 Пустота зимой и летом,  
 Лист тетрадный, как висок.

Бурно красят седину  
 Слов рассыпавшихся строчки,  
 Задыхающийся почерк  
 Сердце в прошłość окунул.

## ЕФИМУ ГРИГОРЬЕВИЧУ ЭТКИНДУ — 70 ЛЕТ

Члену редколлегии и заведующему французским отделением журнала «Время и мы» Ефиму Григорьевичу Эткинду исполнилось 70 лет. В жизни не часто встретишь человека, у которого за плечами был бы столь интересный, трудный и мужественный путь. Писатель, критик, переводчик, эссеист... Мы знаем Эткинда как человека редкой эрудиции и необычайной творческой многогранности. Но многим ли, например, известно, что начинал он свою жизнь солдатом, воевавшим на Карельском и Третьем Украинских фронтах. После войны преподавал в ленинградских вузах, был профессором Ленинградского педагогического института, членом Союза советских писателей, эмигрировал во Францию, стал профессором одного из парижских университетов, под редакцией Е.Г. Эткинда вышли поэтические переводы Пушкина и Лермонтова... — таков лишь голый перечень фактов жизни. Но сколь, однако, ни насыщена биографическая справка, это все-таки только справка, не открывающая в человеке чего-то очень важного.

Ефим Эткинд — человек вызова, совершенно не способный почитать на лаврах и довольствоваться достигнутым. По-видимому, это более всего и раздражало режим, который расправился с Эткиндом не за его диссидентскую деятельность, но, прежде всего, за то, что он был честным и мужественным человеком. Почитайте его «Записки незаговорщика», и вы поймете, что все было именно так.

Среди многих хороших вещей, которые хочется сказать Ефиму Григорьевичу, одну все-таки нужно выделить. Это необычайно остро ощущаемое им чувство дружбы. «Почему я его защищаю? Так это же мой товарищ!» — любимая его фраза, но в ней одной — целая моральная позиция. И еще: у себя в редакции не можем мы не отметить редкое бескорыстие Е.Г. Эткинда. Оно, наверное, в нем от лучших традиций русской литературы, которой он бескорыстно служил там, на родине, и столь же самозабвенно служит вдали от нее. Из этого всего и проистекают наши пожелания Е.Г. Эткинду: жить и дальше так, как он жил до сих пор, и оставаться таким же человеком, каким он встречает свой юбилей.



Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН

### ПАРАДОКС ГОРБАЧЕВА, ИЛИ КАК ПОМОЧЬ ЕМУ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ

С общей точки зрения, происходящее в СССР заслуживает всяческого одобрения. Во всяком случае, гласность в лице либерально настроенного интеллигента находит верного союзника. Горбачев, с одной стороны, пытается бороться с алкоголизмом, коррупцией, привилегиями аппарата, а с другой — пытается дать людям больше инициативы — и в области хозяйственного предпринимательства, и в искусстве, и даже в политике. Все это происходит на фоне ослабления государственного пресса. Мы являемся свидетелями постепенного освобождения политических заключенных. Осуществляются эксперименты по выдвижению на выборах в местные органы нескольких кандидатов. Разрешается печатать ранее забытых авторов. Извлекаются из фильмотек и киноархивов ранее забытые фильмы.

Правда, все эти либеральные изменения не идут монотонно. Например, в последние месяцы начали проявляться и иные тенденции. В «Неделе» появляется статья в поддер-

жку «люберов», с треском снимают (да еще заставляют каяться!) секретаря московского горкома Ельцина — за то, что он не был доволен темпами гласности. Все чаще одергивают «перебирающих через край» либеральных редакторов.

Однако, оставив эти извивы в стороне, я буду в своем анализе исходить из предельной ситуации, то есть буду предполагать, что кампания гласности развивается в полной мере и что если даже в либеральных изданиях появляются не совсем либеральные статьи, то это можно считать проявлением растущего многообразия идей.

Исходя из той же предельной ситуации, я буду связывать развитие гласности с именем Горбачева. Хотя стоило бы вспомнить его не столь давние экивоки в сторону сталинизма — похвалы стахановскому движению. Да и вообще я думаю, что как лидер он еще не сложился. И подобно тому, как он быстро эволюционировал от ординарного советского аппаратчика к решительно настроенному либералу, совсем не исключено, что он может двинуться в обратном направлении.

## ГИПОТЕЗА

Происходящие в СССР процессы рассматриваются советологами преимущественно в рамках бинарного подхода, то есть они как бы видят перед собой только два полюса: с одной стороны либеральный Горбачев (который пытается активизировать советских граждан), а с другой — консерваторы, желающие спокойной жизни, к которой они привыкли за 20 лет брежневского правления.

Но стоит перейти к другому, тройственному подходу, как картина резко усложняется, подобно тому, как она усложняется в механике, когда мы переходим от задачи двух тел к задаче трех тел. Так вот, при тройственном подходе в игру вступает еще одна важная группа — реакционеры. В отличие от консерваторов они искренне хотят

перемен, и это сближает их с либералами. Отличаются они лишь по знаку. Либералы хотят демократизации, реакционеры, напротив, стремятся к авторитарному, а то и к диктаторскому, шовинистическому режиму.

Такой тройственный подход приобретает особое значение, когда мы обращаемся к положению дел в СССР. Сказать просто, что сегодня там осуществляются реформы, совсем недостаточно. Надо еще добавить, что проводятся они в период стагнации последней большой империи. Империи, для которой всегда были характерны традиции экспансионизма и национализма вплоть до их крайних шовинистических форм. Вот почему гласностью в СССР могут воспользоваться не только либеральные круги, но и реакционные. Более того, парадокс состоит в том, что реакционеры в большей мере могут воспользоваться возможностями перестройки. Почему? Да потому что за ними — сочувствие многомиллионного русского населения, которому всегда были симпатичны националистические идеи. Будучи фанатиками, реакционеры могут действовать более решительно, чтобы возродить у русского народа веру в его будущность.

Вот, например, что пишет в газете «Советская культура» секретарь правления ленинградской писательской организации Г.Петров о вакханалии русофилов на конференции, организованной Ленинградским университетом (ниже я к этой конференции еще вернусь).

**«Теперь открытый обмен мнениями, безоглядность суждений возродились и прогрессируют бурными темпами. Но во многих случаях новой обстановкой быстрее и эффективнее, чем истинные творцы и поборники перестройки, пользуются демагоги, экстремисты, просто путаники. Они часто оказываются хозяевами положения, тем более, что не брезгают средствами. Клевещут, лгут, распространяют вздорные слухи, пропагандируют идеи, чуждые советскому патриотизму, социалистическому интернационализму».**

Дело не только в том, что русофилы несут идеологию, в которую способна поверить огромная часть русского народа. Они могут способствовать и совершенствованию

экономического механизма. Совсем не обязательно, что, скажем, только либералы могут выступить против партийной опеки в экономике, за ее децентрализацию. Русофилы способны это сделать с не меньшим, а может быть, и большим успехом. Другими словами, я выдвигаю гипотезу, что в условиях русской империи с ее милитаристскими и националистическими традициями гласность может и не привести к либерализации страны, а даже напротив — к установлению националистического режима с фанатичными лидерами во главе.

Разве редко приходится нам слышать, что в русской национальной силе — путь к спасению России, что русский народ имеет право на свое собственное, самобытное развитие. Более того, поскольку в интересах самой же России либерализоваться и быть в концерте развитых демократических держав, то обновленная Россия, сбросив коммунистические вериги, постепенно и пойдет по этому пути. И поведут ее верующие русские националисты. Как видим, в советской политической стратегии вполне допускается комбинация русского национализма с либерализмом и демократией.

В принципе и я отношусь с симпатией к идее национализма в смысле желания любой этнической группы сохранить свою самобытность. Тут огромную важность приобретают акценты — о каких именно националистах идет речь. Так вот, в период кризиса империи на авансцену выходят не умеренные националисты, а их крайнее, правое крыло — русские шовинисты. Что же до умеренных, которые в принципе могут быть и союзниками либералов, то в сегодняшних условиях они вероятнее всего поддержат шовинистов, поскольку последние выражают дорогие для них интересы страны. Да, умеренным чужда грубость, жестокость шовинистов, отсутствие у них утонченности, но привлекает решительность последних защищать величие нации.

## НАЦИОНАЛИЗМ (ИСТОРИЯ)

Расхожим является мнение, что традиция русского национализма была прервана Октябрьской революцией и возрождена Сталиным лишь во время войны. Мне кажется, что эта традиция практически не прерывалась. Менялись только ее формы и сила. Ленин сохранил империю, мотивируя это, правда, коммунистическими лозунгами. Уже при нем начала складываться концепция «победы социализма в одной стране» в противовес «перманентной революции». В переводе на житейский язык первое значило, что мировой коммунизм может быть достигнут только под руководством России; второе — что для победы мирового коммунизма можно пожертвовать даже Россией.

После смерти Ленина ведущими сторонниками первой точки зрения были русские люди: Бухарин, Рыков, Томский, Угланов и примкнувший к ним все-таки православный Сталин (точнее, Сталин и примкнувшие к нему...).

Ведущими сторонниками второй точки зрения были евреи Троцкий (Бронштейн), Зиновьев (Радомысльский), Каменев (Розенфельд).

Как известно, победила первая группа. К 1927 г. Политбюро было свободно от евреев, и лишь в 1930 г. Сталин ввел в Политбюро своего выкорыша Л.М.Кагановича.

12 декабря 1930 г. Сталин пишет письмо поэту Демьяну Бедному, в котором обвиняет его в клевете, в «развенчании русского пролетариата», в «развенчании СССР», в том, что «лень и стремление сидеть на печке» представлено «чуть не национальной чертой русских вообще». И это в то время, пишет Сталин, когда «рабочие всех стран рукоплещут... русскому (подчеркнуто Сталиным) рабочему классу, призванному своему вождю». Тогда, однако это были еще «несвоевременные мысли», и письмо это было впервые опубликовано в 1952 г. в 13-м томе сочинений Сталина.\*

\* Дымерская Л., «Замечания к истории, или история, сотворенная по замечаниям». «Страна и мир», № 11, 1986, стр. 69.



Но если в начале 30-х годов Сталин еще стесняется воспевать великий русский народ, то уже к середине 30-х годов он делает это совершенно открыто. Чтобы разделяться со своими правыми единомышленниками, он организует обвинение их лидера Бухарина не больше не меньше как в клевете на русский народ, в принижении роли великого русского народа. Вершиной этой кампании было заявление в передовой «Правды» от 27 января 1936 г., что великий русский народ дал Ломоносова, Лобачевского, Попова, Пушкина, Чернышевского, Менделеева и «таких гигантов человечества, как Ленин и Сталин». Блестящий трюк: потомственного русского дворянина Бухарина представить клеветником на русский народ, а грузина, говорящего по-русски с тяжелейшим акцентом, сделать великим сыном русского народа.

Пышным цветом националистическая пропаганда расцвела после войны. Сигналом к ней стал сталинский тост за великий русский народ на обеде по случаю парада Победы 24 июня 1945 г. Восхваление русского народа как старшего брата сопровождалось оголтелой антисемитской кампанией, прикрываемой борьбой с космополитизмом и всевозможными заговорами евреев: память об «убийцах в белых халатах» жива и по сей день.

В брежневский период русские националисты выступали под лозунгом «Сохраним памятники русской старины». Все дело было, конечно, в том, что скрывалось за этой кампанией, не превращалось ли Общество по охране памятников с их штабом в церкви на Калининском проспекте в одну из активных националистических организаций?

Когда к власти пришел Андропов, он сразу же попытался урезонить эту организацию. «Известия» напечатали большую статью, в которой разбирались финансовые неурядицы во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры — ВОПИК. Несколько статей о русском национализме появилось и в «Правде».

С другой стороны, антинационалистический курс Андропова сопровождался милитаристской и антиамериканской пропагандой. Именно при Андропове был уничтожен корейский самолет. Это лишний раз показывает, как причудливо сочетаются в СССР противоположные тенденции.

## НАЦИОНАЛИЗМ (СОВРЕМЕННОСТЬ)

Пришедший к власти Горбачев как будто не поощряет национализм. Но именно при нем сверху начала развиваться

широкая кампания по смене кадров. Второй секретарь ЦК Е.Лигачев несколько мудро назвал ее политикой «по региональному обмену кадрами». Практически это значило, что в республиках будет усилен контроль со стороны русских руководителей, что выдвигаться будут прежде всего те представители местных национальностей, которые прошли обучение и имеют опыт работы в русских районах.

Следует, впрочем, снова повторить, что внешне национализм никак не поощряется. Однако давайте обратимся к печати и, чтобы далеко не идти, откроем ту же «Правду». Вот очерк Веры Ткаченко «Родина дана нам один раз и до самой смерти» («Правда», 21 августа 1987 года). Посреди текста, на фото, мы видим ностальгические русские березки. И тот же ностальгически-сентиментальный тон у всей статьи. Автор патетически призывает читателей быть благодарными Родине за то, что она дает возможность слушать ей и покоиться после смерти на ее земле.

А что же происходит с движением по охране памятников? В начале 80-х годов (почему-то при Министерстве авиационной промышленности) создается новая организация «Память» — как общество любителей истории и литературы. По существу у этой организации та же программа, что и у вышеупомянутого мной ВОПИКА, но есть у «Памяти» и нечто совершенно новое. Это новое — прежде всего, руководители «Памяти». Если во главе предыдущего общества стояли герой Сталинграда маршал Чуйков, писатель Владимир Солоухин, то среди лидеров «Памяти» никому не известный кликушествовавший фотограф-журналист Д.Д.Васильев. Мы видим здесь В.Н.Емельянова (зверски убившего свою жену, но оправданного, поскольку он был признан невменяемым), того самого Емельянова, который издал в Париже откровенно антисемитское сочинение «Десионизация».

«Память» функционирует не только в Москве, но и в Ленинграде, Свердловске, да по существу во многих городах Союза. В помещениях клуба московского завода «Динамо», дома культуры имени Горбунова сторонники «Памяти» схо-

дятся на массовые собрания, где открыто цитируются «Протоколы сионских мудрецов».

Впрочем, чересчур открытые выступления «Памяти» были встречены довольно острой критикой в печати. Деятельность русофилов была приглушена, но отнюдь не прекратилась. Чтобы увидеть это, достаточно обратиться к уже упомянутой мной и прошедшей в Ленинграде конференции, созданной ЛГУ, Институтом русской литературы (Пушкинским домом) и Педагогическим институтом имени Герцена. Даже не столько примечательна была тема конференции — «Сибирь — ее сегодня и завтра в русской литературе», сколько ее эмоциональный климат, господствовавшие здесь настроения и даже отдельные заявления, раздававшиеся с трибуны, — например, экономиста Антонова: «Не было и нет на земле народа более талантливого, чем наш русский!» Профессор Ф.Углов, отвечая на записку из зала «Какова роль евреев в заговоре против русского народа», саркастически улыбнувшись, сказал: «Они автографов не оставляют». Другой автор записки, посланной в президиум, писал: «Ничего нельзя в нашей стране изменить без отказа от марксизма как глубоко сионистского учения».

Но наиболее пикантным было появление лидера «Памяти» Д.Васильева. Без особого сопротивления со стороны президиума, он завладел трибуной и замедленными театральными жестами снял парик, отодрал бороду и усы, похвастался под вспышками блицев, перед объективами кинокамер (откуда вдруг набегали желающие запечатлеть эту сцену?). Затем значительно произнес:

— Вот так мы пробиваемся к правде! Вот что значат в наше время демократия и перестройка.

После чего произнес встреченную аплодисментами обвинительную речь против тех, кто глумится над родиной.

Примерами этими я вовсе не хочу сказать, что русские националисты повсюду, с открытым забралом перешли в наступление. В своей деятельности они часто осторожны,

и активность их не в том, чтобы при каждом случае лезть на трибуну и призывать бороться против сионистов, а в том, что они используют любую возможность, чтобы провести свои идеи, иногда, впрочем, довольно тонко и изощренно.

Какая, казалось бы, связь между объявленной в СССР борьбой с алкоголизмом и русофилами? Но вот появляется новый журнал «Трезвость и культура», и наиболее рьяными поборниками трезвой жизни как раз и выступают националисты. В России, узнаем мы из журнала, исстари не было традиции питья алкоголя: это придумали враги русского народа. В России была традиция пить ...чай. И вот журнал на все лады расхваливает русский чай, рекомендует всяческие рецепты его приготовления, публикует снимки людей, одетых в традиционные русские одежды и сидящих вокруг самовара. Для полноты картины появляется статья, разоблачающая страну, в которой растет алкоголизм и наркомания. Читатель думает, что такой страной окажется если уж не Швеция или Финляндия, то, по крайней мере, оплот империализма — Америка. Но увы, растущий алкоголизм оказывается присущ ...Израилю. В статье В.Демина «Логика насилия — логика деградации», посвященной росту алкоголизма и наркомании в Израиле, выдвигается на этот счет стройная концепция: что можно ожидать от сионистов-фашистов-империалистов, которые уничтожают невинных людей? Как могут они реагировать на свои злодеяния, как не ростом потребления алкоголя и наркотиков?

И все же картина роста национализма в СССР не выглядит однозначной. Она часто спутана, затуманена, усложнена обратными, а то и противоборствующими явлениями. В чем-то нельзя тут не видеть плюса, элементов плюрализма, без которого невозможно говорить о демократизации общества. Но эта множественность обязывает нас к внимательному изучению происходящих процессов. Пусть в своих противоречиях — но сами процессы, не могут остаться непонятыми.

Видя по телевидению московских хиппи и панков, видя

джазы и рок-н-роллы, мы не можем не прийти к заключению, что в широких кругах молодежи растет прозападная ориентация. Это понятно и, в общем, логично. Но в то же время из печати узнаем о появлении так называемых «люберов», об их призывах овладеть приемами карате, об их броском одеянии, о широких в клетку кофтах и узких черных галстуках. Иные из обычаев вроде бы даже симпатичны: в наш век пьянства, наркомании и гедонизма они призывают к трезвости, они не пьют и не употребляют наркотиков. Но вот из тех же газет узнаем, что они взяли за правило приезжать в Москву и расправляться с хиппи, панками, металлистами, избивать и отбирать у них модную одежду. Но и отсюда еще до конца не ясно, к чему они стремятся. Очевидным это становится, когда познакомишься с гимном «люберов» (такой у них тоже есть).

**Родились мы и выросли в Люберцах,  
Центре грубой физической силы.  
И мы верим, мечта наша сбудется.  
Станут Люберцы центром России.**

А кто же стоит за «люберами»? Кто так хорошо оркестрирует их деятельность? Как это в советских условиях они находят средства для спортивных залов, тренеров и т.п.? Ответы на эти вопросы остаются открытыми.

Но то, что «Неделя» решила их поддержать, говорит о том, что они имеют влиятельных защитников. Вполне возможно, что поддержка идет от армии. «Неделя» пишет, что «люберы» стали прекрасными солдатами в Афганистане. И не только о «люберах» речь. 11 июля 1987 года «Ленинградская правда» публикует статью Ковшанца о молодежной нацистской группе в Ленинграде. И что же? Членов группы привлекают к ответственности? Совсем нет. Та же «Ленинградская правда» подвергает Ковшанца разгрому. Основания? Оказывается, молодые нацисты опять же проявили себя как доблестные воины в Афганистане.

Стоит в двух словах упомянуть и о роли православной

церкви. Разумеется, христианство и авторитаризм не связаны жесткой зависимостью. Развитие христианства возможно и в либеральной России. Но поскольку христианские идеи здесь представлены православной ветвью и это единственная крупная страна, представляющая православие (в глазах широких слоев населения Россия и православие спиваются), — так вот по этим причинам русская православная церковь начинает играть здесь все большую роль. Не хочу углубляться в историю — но мы знаем, как широко опирался на православие Сталин, особенно во время войны. Не ручаюсь за достоверность данных, но мне запомнились две такие цифры: если в 1939 году в СССР было 500 церквей, то в 1953 году их стало 11000. А как соотносятся православие и горбачевская гласность? Оказывается роль православия усиливается из года в год. Об этом свидетельствуют разные факты. Так, летом 1987 года, впервые за 400 лет, в Москву прибывает патриарх греческой православной церкви Дмитрос. Диссидентствующему священнику Глебу Якунину (который был арестован и лишен прихода) недавно был снова дан приход, притом недалеко от Москвы. В 1986 году на первый курс Московской духовной семинарии принимается в пять раз больше людей, чем за год до этого. Широкие слои населения сегодня готовятся к 1000-летию крещения Руси. Это событие в жизни страны будет настолько значительным, что Горбачев считает нужным о нем специально упомянуть в своем интервью американскому телекорреспонденту Бока.

Могут, конечно, сказать, что многие из этих фактов известны: организация «Память», «люберы», сборища националистов, растущее влияние православия... Но важно представить их в совокупности как элементы одного процесса. Фрагменты картины, сколь бы ни были они живописны, это все-таки фрагменты, а не сама картина, которую необходимо увидеть во всем объеме.

## ШОВИНИЗМ (КОРНИ)

Большевистская революция означала не только переворот в социальной системе России. Она принесла с собой и переворот в сознании — и что очень существенно, — в сознании интеллигенции. До революции ей скорее были близки либеральные идеи, прозападный путь России.

После революции большая часть интеллигенции поверила, что большевики сами творят великую Россию. Старая шовинистическая концепция «Россия — третий Рим» как бы обрела второе дыхание. Щедро пускаемая в ход партийная фразеология не меняла сути дела. Напротив, сталинская концепция победы социализма в одной стране закрепляла эту идеологию.

Итак, определенная группа русских интеллигентов подержала большевиков не потому, что им были симпатичны большевистские идеи, а потому, что коммунисты в их глазах продолжали великие имперские традиции России. Эти люди резонно считали, что лозунги уходят и приходят, а империя остается. Успехи советской индустрии, победа над Германией, созданная Сталиным гигантская военная машина становились весомыми аргументами в пользу новой веры. При этом либеральные русские интеллигенты отнюдь не считали, что Россия не может обогнать Запад западными же методами. Последним советским лидером, который пытался использовать эту идею, был Хрущев. После его смещения новые руководители СССР проявили достойный реализм и постарались немедленно забыть утопическую программу своего предшественника. Лозунг соревнования двух систем был снят.

Правда, и новые советские руководители все еще говорят о превосходстве социализма над капитализмом. Так, Горбачев в беседе с Маргарет Тэтчер заявил, что «социалистическая система многократно демонстрировала и во многих отношениях свое преимущество над капитализмом. Это не хвастовство, а упрямые факты. Далеко не все возможно-

сти системы были раскрыты и использованы.\*

Еще более резко это повторил секретарь ЦК КПСС А.Яковлев в интервью, данном Натану Гарделсу для ежеквартального журнала «Новые перспективы». «Мы должны опять вас, на Западе, удивить. И это время далеко не за горами. Мы удивим вас»\*\*, — сказал Яковлев.

Я разделяю мнение Флоры Льюис, что тут видна «уязвленная гордость»\*\*\* (wounded pride), ибо на самом деле вряд ли можно всерьез говорить о преимуществах социализма. Последние остатки веры либералов расстрелял брежневский режим с его серостью, закостенелостью и террором против инакомыслия. Коммунизм начал отождествляться с двумыслием, демагогией и ложью. Беспросветность порождала разочарование и пессимизм. Приход к власти Горбачева в какой-то мере возвратил веру «западникам». Но в какой? И сколь широк сегодня круг либералов? И насколько глубока их вера в западный путь развития СССР? Не является ли сегодняшняя ситуация — брожения и разброда — как раз той почвой, на которой способны бурно возрасти идеи национализма? «Мы иные и лучше Запада, наши ценности лучше западных, поскольку они чисты от меркантильности, индивидуализма и суеты», — так говорили русофилы полтора века назад. Так говорят они и сегодня.

Хочу в связи с этим сослаться только на одно письмо из СССР от видного советского ученого, датированное 3 октября 1986 года.

**«Это новое явление в нашей жизни, которое началось вскоре после твоего отъезда (т.е. примерно три года назад — А.К.), и я отношусь к нему весьма серьезно. Дело в том, что произошла некоторая знаменательная переориентация настроений русской интеллигенции. Эпоха западничества и демократизма, или стремления к нему, прошла**

\* Lewis, F., "Moscow Still Believes", The New York Times, April 10, 1987.

\*\* Там же.

\*\*\* Там же.

прочны, где-то в конце 70-х гг. от нее еще оставались какие-то рожки и ножки. Теперь господствующим направлением в умонастроениях наших коллег-компатриотов является русский патриотизм, народность и пр.».

### ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАПАДУ?

Что же делать Западу в этих условиях? Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. Какие бы соображения ни были выдвинуты, им могут быть противопоставлены другие. Причем объективно оценить преимущества одних по отношению к другим невозможно. Как говорят в науке, мы имеем дело с индетерминированной ситуацией, когда просито неосуществима свободная от противоречий увязка событий. Поистине, сегодня российская ситуация такова, что куда не кинь, всюду клин.

Отметим, что в оценке этой ситуации западные политики чаще всего проявляют все тот же бинарный подход: или — или, или коммунизм, или антикоммунизм, те, кто против коммунистов, — те с нами. Но если учесть, что нынешние руководители СССР больше не верят в коммунистическую доктрину, а лишь цинично ею прикрываются, что среди самих руководителей есть люди более либерально настроенные и менее, что либералам противостоят консерваторы, что существуют, наконец, искренне верующие, даже фанатичные реакционеры, — так вот, если все это учесть, то вряд ли бинарный подход позволит правильно понять положение вещей. Как я уже говорил, фанатичные реакционеры — это русские, шовинистически настроенные круги. По мере их усиления обостряется борьба не только между ними и либералами, но и между ними и консерваторами. Какая-то часть консервативных кругов также начинает бояться шовинистов и выступает против них.

Таким образом, русофилы сегодня — третья сила в стране, угроза которой недооценивается и в СССР, и на Западе. Почему? Да, наверное, потому прежде всего, что либерально настроенная советская интеллигенция видит перед

собой врага в лице режима, в лице власть имущих. Но у русофилов — тот же главный враг. Я хочу подчеркнуть, что общность здесь доминирует над различиями. Либерализация настолько важна для прозападно настроенной интеллигенции (которая и снабжает Запад информацией), что она просто принижает растущую угрозу реакционеров.

Учтем, что возраст активной части «западников» около 50 лет и старше. Горбачев для них последний шанс, последняя надежда, русские националисты им кажутся горсткой малообразованных, грубых и невежественных людей, подчас просто хулиганствующими элементами, которые не могут оказать серьезное воздействие на происходящее. К тому же, либералы считают, что власть имущие не дадут русофилам разойтись, поскольку боятся их. Отсюда абберация зрения при оценке их сил.

Возвратимся, однако, к вопросу: «Что же делать Западу в создавшихся условиях? На какие силы опираться? В каком направлении действовать?» Очевидно, речь идет не просто об изменении системы, но об изменении культуры страны, а это требует значительного времени, измеряемого, если не столетиями, то по крайней мере не одним или двумя поколениями. Мне кажется, что в этих условиях разумной выглядела бы поэтапная стратегия Запада, то есть поэтапное преобразование СССР в миролюбивое и ответственное государство. Это значит, что на каждом этапе полезно было бы создавать потенциал для последующего развития.

При рассмотрении политической стратегии на первом этапе (то есть примерно на ближайшие десять лет) необходимо исходить из того, что в СССР сегодня господствуют преимущественно циничные лидеры, жестокие, но не кровавые. Некоторые из них, такие, как Горбачев, хотят действовать более гибкими, относительно либеральными средствами. Некоторые, как, по-видимому, Лигачев, — более жесткими. Есть искренние либеральные круги, ярким представителем которых является академик А.Сахаров.

Имеются, наконец, в стране реакционные, но по-своему

искренние националисты. По-видимому, циничные лидеры лучше, чем фанатики-реакционеры. С циниками, как писал Юзовский в «Польском дневнике» (опубликованном в «Новом мире» в конце 50-х годов) в нацистских лагерях легче было договориться. Вероятно, это же относится и к политической ситуации в СССР. Уничтожение режима циников может привести к приходу к власти верующих реакционеров, которым также ненавистна коммунистическая идеология. Поэтому так опасно для Запада бинарное мышление, способное поощрить антикоммунистические, но в то же время реакционные силы внутри СССР.

В начале статьи я уже говорил, что Горбачев как лидер еще не сформировался. В случае, если националистические круги начнут одерживать верх, он вполне может перебраться на их сторону и даже возглавить их. Говорят, что интересы Горбачева и русофилов различны. Но вместе с тем где-то они и переплетаются. Нетрудно предположить, что Горбачев симпатизирует умеренным националистам. Верно, его внешняя политика с ее прозападной риторикой чужда шовинистам; но то, что он реально поддерживает армию, во многом их устраивает. Они готовы поддержать его борьбу с алкоголизмом, коррупцией, привилегиями. Гласность им симпатична тем, что она помогает возродить имена забытых русских писателей, добиваться охраны памятников, расширять влияние православия. В условиях гласности они могут легко сколачивать группы молодых активистов (типа «люберов»), готовых на смерть стоять против западных влияний.

Что касается горбачевской критики среднего звена партаппарата, то последовательные русофилы не просто одобряют ее. В случае своей победы они пойдут еще дальше: они просто ликвидируют партию. Возрождаемая ими церковь будет заниматься идеологией (причем идеологией, в которую многие верят) и не будет вмешиваться в хозяйство. Если они, оставят централизованную промышленность, то освободят ее от двойной партийной и хозяйст-

венной опеки — неосуществимая пока мечта либеральных кругов. В области децентрализации сельского хозяйства идеи Столыпина — Горбачева весьма близки многим из них. Во всяком случае вмешательство государства ими никак не одобряется, и в этом смысле они могут сделать для возрождения экономики даже больше, чем Горбачев.

Что касается отношения к росту технического могущества СССР, то и здесь интересы совпадают. Различаются лишь средства. Для Горбачева либерализация — один из основных инструментов повышения активности научно-технической интеллигенции. Русофилы считают, что этого же можно достигнуть на основе русского патриотизма. Если учесть опыт Гитлера и Сталина, то мнение русофилов имеет серьезные основания.

Как же предотвратить союз Горбачева с националистами? Вопрос этот усложняется, если иметь в виду, что Горбачев вряд ли захочет отдавать сложившуюся за 600 лет русскую империю и ликвидировать авторитарный режим. По-видимому, советский лидер должен оказаться в условиях, при которых невозможно экспансионистским путем решать внутренние проблемы. Соблазны здесь колоссальные. Например, захват Ирана и установление контроля над Персидским заливом обещает огромные количества нефти и использование нефтяных долларов для возрождения экономики. При этом советские лидеры могут цинично рассуждать: «Если будет установлен советский контроль над ближневосточной нефтью, то Запад пошумит-пошумит, но деваться ему будет некуда, и он начнет покупать нефть через СССР». Заключенный летом 1987 года между СССР и Ираном договор о строительстве железной дороги к Персидскому заливу выглядит весьма зловещим симптомом.

И все же сложившаяся в мире ситуация весьма благоприятна для предотвращения советского экспансионизма. Ведущие индустриальные державы являются демократиями. При всех разногласиях между ними они понимают необходимость сохранения свободного мира. Единственной

крупной экспансионистской страной является СССР. Но впервые за последние столетия Россия изолирована от других развитых стран и не имеет среди них союзников. Конечно, СССР жадно стремится расколоть западный мир, но пока безрезультатно.

Наконец, преимущества в стратегическом атомном вооружении, возможность вести «звездные войны» является еще одной гарантией против советского экспансионизма. Но если не экспансия, то каковы надежды советского лидера выйти из тупика? Ответ обычно таков: путем внутренней либерализации. Либерализации и снятия военного напряжения. Однако если эта политика приведет к возрождению национализма (а это, как мы видели, возможно), то мы попадаем в заколдованный круг.

Чтобы выйти из него, необходимо найти новые пути на ближайший исторический период. При этом, важно, чтобы не просто страна СССР-ия была в выигрыше, а чтобы в путях этих был крайне заинтересован сам лидер страны.

### **ПОМОЧЬ ГОРБАЧЕВУ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ**

Известно, что след в истории вожди авторитарных стран оставляют победоносными войнами. Однако выше мы попробовали исключить войны и экспансию. Что тогда может помочь, скажем, тому же Горбачеву получить признание перед историей? Вопрос не простой. Мне кажется, что если бы советский лидер сумел за обозримый период (скажем, 5-7 лет) резко повысить уровень жизни населения (до стандартов хотя бы такой европейской страны, как Италия), он бы мог стать национальным героем.

Разумеется, необходимо, чтобы СССР значительно сократил военные расходы и обеспечил Западу гарантии, что он не будет осуществлять политику расширения империи. С другой стороны, Запад должен быть достаточно сильным, чтобы не допустить любую советскую агрессию. Его военная мощь не должна оставлять никаких сомнений.

В самом Советском Союзе должно начаться движение в сторону создания свободного общества. (Я умышленно избегаю такого размытого понятия, как демократия.)

Вопрос о развитии в СССР свободного общества выходит за рамки этой статьи и требует специального обсуждения. Я же хочу в нескольких словах остановиться на том, как Запад мог бы помочь Горбачеву в его честолюбивых устремлениях.

Ясно, что при нынешней политике милитаризации и существующих отношениях с Западом он не может настолько поднять уровень жизни населения, чтобы стать национальным героем. Эта задача будет ему просто не под силу, пока неприкосновенной останется империя и необходимость разрабатывать новые виды оружия для ее сохранения. Вряд ли принесут нужный эффект и осуществляемые сейчас в СССР меры по повышению гибкости экономического механизма. Не потому, что они плохи, а потому, что попросту не адекватны кризисному состоянию экономики. Достаточно вспомнить жилищную проблему. Если еще недавно было обещано предоставить каждой советской семье квартиру к 1980 году, то теперь это обещание отнесено на 2000 год. В этих условиях и встает со всей остротой вопрос о помощи Советскому Союзу Западом. Логика здесь довольно проста. Если бы СССР, отказавшись от экспансий, дал возможность Западу провести существенное разоружение, то западные страны, в свою очередь, могли бы за счет сэкономленных средств помочь Горбачеву поднять жизненный уровень народа. Поставка Советскому Союзу новой технологии для производства обуви, одежды, инкубаторных кур, тепличных овощей и других товаров, производимых промышленным путем, открыла бы тут широкие возможности.

С другой стороны, если исходить из того, что плодами горбачевской либерализации в большей мере могут воспользоваться националисты, то, может быть, следует поощ-

рять Горбачева к другому курсу, чем тот, что он проводит сейчас? Не к активизации масс, а к отказу от угрожающей Западу политики. Речь идет не о том, чтобы забыть о либерализации, а просто, чтобы внести нужные коррективы в последовательность событий.

### ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ — АРМИЯ

Если мы говорим о стратегии поощрения, то встает и еще один вопрос — о выборе советским лидером союзников. В стране есть четыре ведущие силы: партийный аппарат, КГБ, хозяйственный аппарат и армия. Маловероятно, что в сегодняшних условиях Горбачев может получить поддержку всех четырех групп. Так же, как и маловероятен успех, если он ополчится против всех этих групп сразу. На пути к цели, о которой мы ведем речь, он может пойти на разные комбинации. На мой взгляд, наиболее оптимальной выглядела бы консолидация с партийным аппаратом, КГБ и хозяйственным аппаратом.

Похоже, что Горбачев ведет прямо противоположную игру. Он прежде всего борется с партийным аппаратом, в особенности со средним его звеном, ограничивает КГБ, требует повышения ответственности хозяйственников и заигрывает с военными.

Во внешней политике он не предпринял никаких серьезных шагов, которые как-то могли бы ущемить армию. Даже война в Афганистане продолжается. Попутно заметим, что армия наиболее чувствительна к национализму. Это она призвана защищать страну, тогда как партийный аппарат и КГБ прежде всего защищают режим.

Я понимаю, как неприглядно выглядят мои соображения. Вместо того, чтобы звать к активизации внутренних источников, например, поддерживать активных хозяйственников, формировать из них средний класс или поддерживать борьбу за права человека, я призываю к союзу с циничными лидерами, которые должны к тому же законсер-

вировать на время существующую структуру. Однако «нетерпение сердца» в такой ситуации может быть весьма опасным. Надо помнить, что любая политика осуществляется с определенными скоростями во времени. Рискованно говорить вообще, что лучше и что хуже.

Разумеется, для выработки общей стратегии очень важны идеалы. Но вульгаризация начинается тогда, когда политики хотят их немедленно воплотить в жизнь. Приближение к идеалам идет через мучительную борьбу, через многие стадии создания потенциальных возможностей для дальнейшего развития. В противном случае возникает опасность двигаться в направлении, противоположном идеалу.

Но, конечно же, каждый раз надо помнить о применяемых средствах. Негодные средства способны испоганить любую светлую цель. Поэтому в моих предложениях о союзе либералов с циниками кроется немалая опасность. Надо о ней всегда помнить и по возможности сводить к минимуму жертвы при компромиссах.

В условиях неопределенности советской внешней политики и Запад свой подход к СССР должен строить инвариантно, то есть быть готовым к любому повороту событий. Но в той мере, в какой допустимо предполагать мирный путь развития СССР (особенно при получении от него продуманных гарантий), имеет смысл говорить о целесообразности риска, то есть можно говорить о политике, которая бы способствовала резкому росту благосостояния советского народа.

Будем оптимистами и будем верить в Добро. Но вместе с тем по крайней мере не будем забывать о силе Зла — националистическом начале. Как тут не вспомнить о зороастризме. Согласно зороастризму в мире есть два начала: Добра — Ормузд и Зла — Ариман. Сила Добра в конце концов победит силу Зла. Но чтобы приблизить этот шаг, люди должны помогать силе Добра в борьбе со Злом. А хватит ли у них для этого сил? А впрочем, что они еще будут считать Добром и Злом в этом изменчивом мире?



## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЬВЕ НАВРОЗОВЕ

Имя Льва Наврозова хорошо известно нашим читателям. В журнале публиковались отрывки из его книги «Воспитание Львы Наврозова», получившей широкие отклики в американской печати. В 37-м номере журнала было опубликовано эссе Наврозова «Что знает западная разведка о России?», впоследствии перепечатанное в 500 периодических изданиях мира.

Лев Наврозов — постоянный политический обозреватель газеты «Нью-Йорк Сити Трибюн». О своей журналистской работе в этой газете Наврозов говорит так: «В пятницу я ругаю Нью-Йорк Таймс, в среду — ЦРУ, а в понедельник — всех остальных».

Публикуя новое эссе Наврозова «Запад выходит напрямую к гибели», в сжатом виде излагающее содержание его политических колонок за семь лет, мы считаем необходимым отметить, что редакция не согласна с рядом положений автора. Мы не согласны с его оценкой происходящего сегодня в СССР, с его взглядами на Горбачева, на Сахарова, на Солженицына. Тем не менее, нам представляется, что читатели с интересом прочтут новое эссе Льва Наврозова, в котором он предлагает свои, не совпадающие с общепринятыми оценки событий, происходящих в современном мире.



Лев **НАВРОЗОВ**

## ЗАПАД ВЫХОДИТ НАПРЯМУЮ К ГИБЕЛИ

Мое культурно-политическое положение в Нью-Йорке в известном смысле напоминает мне мое положение в Москве во времена Сталина. В Москве я открыл, что Сталин — рабовладелец, а его «строй» — рабовладельческий. Это было открытие таблицы умножения, уже открытой 24 века назад. Причем сами слова «рабовладелец» и «рабовладельческий» были известны каждому советскому школьнику из истории в объеме начальной школы.

Я также заметил, что в отличие от английского слова «власть», означающего лишь «силу» или «право», русское слово «власть» происходит от слова «владеть» и как бы указывает на «рабовладение».

Рабовладение отнюдь не обязательно сопровождается горой трупов. Такой горы не было ни в русской деревне эпохи «крепостного права», ни на плантациях американского рабовладельческого Юга. Однако в начале 30-х гг. Сталин, перефразируя роман «Евгений Онегин»:

Оброк он легкий обрядом  
 Барщины старинной вдруг заменил,  
 И раб  
 Судьбу не только не благословил,  
 А проклял. Отсюда горы трупов .

Добрых двадцать четыре века назад афинянин весьма едко заметил Платону, что «если тебя поймут на преступлении небольшого масштаба, то тебя осудят и опозорят. Но если ты не только отнимешь у своих сограждан их собственность, но и обратишь их всех в рабов, больше бранных слов в свой адрес ты не услышишь, и даже сами же твои сограждане... благословят твое имя». Несмотря на то, что я открыл политическую таблицу умножения, открытую еще 24 века назад, оказалось, что я с ней как бы «один против всего мира».

Я беру это выражение в кавычки, ибо, во-первых, у меня были слушатели-последователи. А во-вторых, по всему миру были рассеяны такие, как я, но только они были неслышны и невидимы.

Ведь были и есть поэты гениальности Мандельштама, о которых мы никогда не слышали. Они нашли двух-трех читателей, а дальше дело не пошло, и никто, кроме этих двух-трех, не знал и никогда не узнает о них, а стихи вдова хранила, да потом внуки выбросили. На Западе дело с узнаванием-признанием обстоит еще хуже, ибо теперь чуть ли не каждый американец, не имеющий никаких способностей, норовит в искусство и гуманитарные науки. Тут, к счастью, никаких способностей не надо, и любая школьница может настроичить стихи верлибр на машинке, а компьютерист на казенном компьютере. Вот только мне лично неизвестна ни одна строчка ни одного современного американского поэта, которую стоило бы читать.

Точно также не всякий Христос находит и дюжину учеников, включая предателя, а распятие его может не состояться или не повести ни к чему, кроме полного забвения по снятии с креста.

Утверждая, что в своем открытии политической таблицы умножения я был «один против всего мира», я имею в виду мир, доступный моему восприятию, — тех кто был слышен и видим.

Например, Черчилль. Как у специалиста у меня был доступ к его мемуарам. В англо-американских энциклопедиях Черчилль представляется как величайший государственный деятель демократического Запада XX века. Выдающийся журналист, историк и оратор. Причем, консерватор, антибольшевик, борец за демократию, который и пустил в мировой обиход слово «демократия» в его современном смысле.

И вот он вспоминает о том, как обедал со Сталиным во время Второй мировой войны. Вспоминает как частное лицо, ему 76 лет (в 1950 г.), и ему незачем стараться понравиться Сталину по дипломатическим причинам. Он говорит то, что представляется ему последней правдой, которой нечего терять или приобретать на этом свете.

Во время обеда Сталин рассказал о ликвидации десяти миллионов «кулаков». Почему же десяти? Сталин показал ему на пальцах — во, на все десять пальцев. Каждый палец — миллион жизней. Но ведь у Сталина было только десять пальцев на руках. А было бы двадцать, показал бы: во, на все двадцать пальцев — двадцать миллионов рабов угробил.

Что же говорит Черчилль в 1950 г. как частное лицо в возрасте 76 лет? Просидев за обедом со Сталиным семь часов («бесконечная смена изысканных блюд» и «необычайное разнообразие великолепных вин»), он выслушал обеденную лекцию Сталина о том, как «мы не только увеличили в гигантской степени производство продовольствия, но и несравнимо улучшили качество зерна». И в своих мемуарах Черчилль заключает, что новое, отъевшееся на столь пышных хлебах поколение «благословит имя Сталина». То есть Черчилль буквально провозглашает то, над чем безвестный афинянин иронизировал уже 24 века назад.

Между прочим, в порядке исторической справки, по ны-

нешним советским данным, Россия в 1913 г. произвела хлеба 86 миллионов тонн, а в 1946 г. 39,6 миллиона тонн. Но не в этом дело. А в том, что для Черчилля (а я беру его как далеко не худший образец современной западной культурно-политической элиты) тот, у кого целых 200 рабов, — это все еще рабовладелец и, следовательно, преступник, как бы хорошо он с ними ни обращался. Если он убьет даже целый десяток соседей, он все еще преступник, и отправляя его на казнь или в пожизненное заключение, скажут: «Только взгляните на его рожу. Так бы и плюнул. Зверь, убийца, уголовник. Тьфу, тварь какая!» Но коль скоро масштаб преступлений уголовника-рабовладельца исчисляется в 200 миллионов рабов и в 10 миллионов убийств, он для Черчилля уже не уголовник и не рабовладелец, а государство, правительство, лидер, обворожительный премьер, одна из Объединенных Наций и все прочее.

Своим тайным последователям в Москве я объяснял: «Черчилль — западный обыватель, который уважает успех, славу и богатство еще больше советского обывателя. Разве успех Сталина, победившего Гитлера, не больше успеха Черчилля, которого даже не переизбрали после войны? Разве слава Сталина не больше славы Перикла, или Христа, или Шекспира? Разве Сталин не владеет богатством, по сравнению с которым богатство Рокфеллеров нищенская сума или пособие по безработице? Родись Черчилль в Москве, он бы, возможно, первый вскакивал, чтобы кричать «Слава Сталину!» Западный обыватель — это, духовно раб, который оказался временно свободным по прихоти истории. Но он гнется в дугу при виде Сталина еще до того, как Сталин стал его владельцем, ибо Сталин осуществил — в еще большей степени, чем любой другой, — все то, ради чего обыватель живет и чему он поклоняется».

## МОСКВА—НЬЮ-ЙОРК

Ясно, что я был «один против всего мира» еще в Москве во времена Сталина. Как и следовало ожидать, я оказался «один против всего мира» и в Нью-Йорке. Разумеется, у меня есть «свой круг читателей». Но весь этот круг читателей пока что оказывает на поведение Запада не многим более влияния, чем оказывали на поведение сталинской империи мои слушатели-единомышленники (ни один из которых, между прочим, не предал меня).

Культура и, следовательно, политика вершится в Соединенных Штатах крупными корпорациями, а не личностями. Современный Вольтер или Толстой не имеет никакого влияния, если он не член крупной корпорации вроде газеты «Нью-Йорк Таймс», Йельского университета или правительства, которое представляет собой как бы одну из корпораций (причем, в известном смысле, менее влиятельную, чем, скажем, корпорация «Нью-Йорк Таймс»). А все крупные корпорации в области «высокой культуры и политики» принадлежат либерально-демократическому истеблишменту. Его противникам — консервативным республиканцам — принадлежат лишь сравнительно крошечные периодические издания с тиражом в 50 тысяч экземпляров или менее. У них нет ни телевизионных сетей, охватывающих все население, ни печатных изданий вроде газеты «Нью-Йорк Таймс», охватывающей своим тиражом в один миллион экземпляров всю культурно-политическую элиту страны. Поэтому Республиканской партии фактически не существует. Рональд Рейган был демократом, затем заделался республиканцем, но, конечно, является либеральным демократом по своей программе, а не по нацепленному на себя ярлыку.

Может показаться, что лица, попавшие в «сенсационные новости» корпораций «массовой информации», обладают влиянием, каким обладал, скажем, Вольтер или Толстой. Например, Солженицын. Уж какая мировая слава. Не меньше, чем в свое время у Вольтера (не говоря уж о Толстом). Но

только ясно, что все это лишь обывательская «игра в великих людей». В водевилях прошлого века принимал участие «Руски», непременно с окладистой бородой а ля рюс. Вот и Солженицын побывал в такой роли. Этот Руски стал новым Толстым! Потом, разумеется, развлечение надоело. Нераспроданные книги издательство сдало по доллару за штуку тем организациям, которые занимаются продажей книг по бросовым ценам. Но и по бросовым ценам никто не покупает. Не модно! Пойдут под нож.

Когда либерально-демократический истэблшмент выбросил книги Солженицына на свалку, то консервативные республиканцы попробовали было поддержать его славу. Куда им! Ведь у них ничего нет. Кроме денег. На которых их и удавят.

Какое уж тут влияние? Впрочем, никакого влияния и быть не могло, ибо Солженицын — не Толстой, хотя и написал неплохую повесть «Один день Ивана Денисовича», которую Хрущев использовал для борьбы с последышами Молотова и иже с ним. Ну, а либерально-демократический истэблшмент подхватил, дабы развлечься, и заодно уверить всех, что в советской империи назрела оппозиция: где там советской империи Запад одолеть, если с одним справиться ей не вмоготу.

Кроме того, Солженицын был и есть совершенно безопасен, скажем, для той же газеты «Нью-Йорк Таймс». Имей он доступ к читателям «Нью-Йорк Таймс» и решив сокрушить эту корпорацию, что же он этим читателям сказал бы? Все, что он сказал, — было уже сказано в американской (а не только в советской) провинции. А оттого, что он Руски, читателям «Нью-Йорк Таймс» было бы лишь еще смешнее. Впрочем, подобной возможности у Солженицына уже нет. Прошлой осенью он дал интервью западногерманскому журналу после долгого и многозначительного молчания. Но ни одна американская газета даже не сообщила о самом этом факте. Сообщили ли о нем русскоязычные эмигрантские газеты? Словом, нет Солженицына. Поиграли и выбросили (вместе с Нобелевской премией). А новое поколение

в Соединенных Штатах даже не слышало его имени.

Следует отметить, что если бы Солженицын был трижды Толстой в сочетании с Периклом и Фомой Аквинским, то вся комедия была бы точно такой же и закончилась бы полным его забвением. Все происшедшее может вызвать лишь сочувствие к Солженицыну, который оказался игрушкой в руках культурных корпораций, вроде газеты «Нью-Йорк Таймс».

### **КРУГ СУЖАЕТСЯ**

Как я уже заметил, в Соединенных Штатах фактически однопартийная система, либерально-демократический истэблшмент усиливает свою власть в области высокой культуры и политики, выдавая себе чины, звания, степени, жалованья, гранты и премии, распоряжаясь новостями и гуманитарными науками, прославляя или обрекая на безвестность. В Нью-Йорке любой причисленный к консерваторам оказывается отсеченным от культурного истэблшмента, как я был отсечен от него в Москве. Меня скорее опубликует «Правдэ», чем «Нью-Йорк Таймс». «Правда» может сделать это «на-слабо». «Нью-Йорк Таймс» никогда этого не сделает. Советская империя в настоящее время достаточно могущественна, чтобы печатать меня «на-слабо». Корпорация «Нью-Йорк Таймс» далеко не столь могущественна, чтобы печатать меня «на-слабо»: как объяснил мне заместитель издателя с глазу на глаз, напечатаешь меня один раз с ссылкой на «Нью-Йорк Сити Трибюн», а читатели «Нью-Йорк Таймс» и побегут, чего доброго, покупать «Нью-Йорк Сити Трибюн». В Сибирь их ведь за это не сошлешь.

Я бы сказал, что мое культурно-политическое положение не улучшается, а ухудшается. Я печатался в «Йельском литературном журнале», благо его редактором был мой сын, который этот журнал купил в 1978 г. Сослать его в Сибирь было нельзя. Но зачем же? Достаточно отнять у него журнал. И он был у него отнят через суд несколько подлее и грубее, чем поместье Дубровского было отнято Троекуровым в известной пушкинской повести.

В другом университетском журнале дело было и вовсе проще простого. Журнал принадлежал университету (Сэйнт Джонс колледж). Университетское начальство узнало о том, что у редактора в портфеле моя очередная статья, попросило дать экземпляр для ознакомления. После чего начальство публикацию запретило. Редактор, что называется, вломился в амбицию. Свобода печати и все прочее. Мы, мол, не в Москве. Тогда они его вообще сняли. Свобода печати? Иди на угол и раздавай произведения Наврозова.

Заметьте, что Сэйнт Джонс колледж — консервативный. Чем же я им не потрафил? Многие крохотные консервативные издания боятся гнева либерально-демократических гигантов. Консерватизм заключается в этом случае в желании жить тихо, делать деньги и копить их без помех.

Редактор еще одного — третьего по счету — периодического органа печати обиделся, что я дурно отозвался о его бульварном романе «на антисоветскую тему». Редактор четвертого был снят за мои статьи теми, кто субсидировал журнал. Редактор пятого рассердился, что я отрецензировал книгу его любимого «эксперта в области разведки» как стряпню невежды, шарлатана и наглеца.

С 1980 г. я потерял восемь периодических изданий. Круг сужается.словно я двигаюсь к своей юности в Москве при Сталине.

Тут, конечно, дело и во мне, а не только в социально-политических обстоятельствах. Я не желал отдавать советской империи никаких своих способностей, кроме знания английского языка. Но этого знания оказалось недостаточным, чтобы вознести меня на вершину советской империи: наша дача, купленная у небезызвестного Утесова (и проданная при отъезде бывшему президенту Академии наук Несмеянову) была «самой роскошной» в поселке, где проживал бывший член Политбюро Пономаренко и министр иностранных дел Громыко, член Политбюро нынешний. Мы как бы смотрели на них сверху вниз, с высоты наших балконов, притом я не приложил к этому никаких усилий в смысле ин-

триг, знакомств и прочего. Мой английский язык представлял собой стратегическую ценность (язык главного противника), ибо кто же, кроме меня, скажем, мог в три дня перевести на английский язык книгу «Эйнштейн и Достоевский»?

Приехав на Запад я, так сказать, распахнул свои знания, в частности, в области сравнительного изучения современных цивилизаций, знания, необходимые, по моему мнению, для спасения Запада. Но только кому же они нужны? На 1980 г. число американцев, изучающих русский язык, — язык главного противника, — было примерно равно числу американцев, изучающих древнегреческий, и составляло 0,4 процента американских школьников и студентов. Выступая с лекцией в университете, я обнаружил, что русский язык в нем преподавал бывший немец, диссертация которого на соискание степени доктора философии была о французских глаголах. Никто не спросил меня: «Вы не могли бы нам рекомендовать преподавателя русского языка из числа 250 тысяч вновь прибывших эмигрантов?»

Советской империи нужен английский язык для завоевания мира. Университет же не собирался ни завоевывать мир, ни спасти Запад. Университетская корпорация желала собирать деньги со студентов и налогоплательщиков и платить оные своим докторам философии — членам своей гильдии. Но если корпорации не нужен даже русский язык в самом элементарном смысле, то на какого же дьявола ей мои знания, которых она и понять-то не может?

Движение вверх в области высокой культуры, таким образом, зависит, как и в Москве, от умения угождать влиятельным лицам, интриг, знакомств и прочего. Где надо, с женой редактора модного журнала и просто погулять (ибо переспать с ней уже невозможно по причине ее преклонного возраста), а где надо, корреспондентке «Нью-Йорк Таймс» (ух, разбитная!) устроить роскошнейшего мужчину-эмигранта для жгучей временной связи.

Но дело-то в том, что ничему этому я в Москве не был научен. Я никогда нигде не служил и не получал жалованья. Я и не видел своих заказчиков. Они звонили, умоляя закончить перевод к концу недели, гнали машину ко мне на дачу, чтобы привезти рукопись и договор, и забирали перевод, не веря своему счастью. «Спас, выручил. А иначе с нас бы голову сняли». Я же про себя проклинал их и свою судьбу, ибо их бешено оплаченная любительская чепуха об Эйнштейне и Достоевском отняла у меня целых три дня, необходимые для моей подпольной духовной деятельности — в частности, сравнительного изучения современных цивилизаций.

В Нью-Йорке я как бы взял еще более независимый тон. Ведь я ж на Западе! Уж как я Западу нужен! Я не сразу понял, что на Западе ценится не мировая стратегия, а частная коммерция: тут речь идет не о земном шаре, а о личном богатстве.

Впрочем, на Западе есть еще одна потребность. В 1978 г. я оказался нужен Рональду Рейгану. Но не для того, чтобы спасти Запад, а для того, чтобы ему попасть в Белый дом. «Смотрите, какое ЦРУ у Картера! Вот что Наврозов пишет. Ха-ха-ха! Сборище шарлатанов! Голосуйте за меня, Рейгана!» Ну, а после избрания, пусть этот Наврозов себе издается в своей газетке над сборищем шарлатанов Рейгана. Кто же его увидит и услышит?

Я получил письмо от крупнейшего газетного синдиката. Им очень нравится, как я пишу. Они меня возьмут, моя колонка появится в сотнях газет, мой доход в конце концов составит 20.000 долларов в неделю. Если я сменю темы. Да что я такое заладил? Гибель Запада, спасение Запада. Кому это интересно? Я тоску на всех навожу. Кто же будет за это платить?

Я ответил, что если в деньгах счастье (в противоположность утверждению водопроводчика в известном рассказе Зоценко), то ведь я мог бы продолжать заниматься переводами и на Западе, выколачивая, худо-бедно, миллион

долларов в год. Ведь есть же советско-американская торговля и научно-технический обмен. А это прибыль для Запада (и наращивание военного превосходства для советской империи). Отчего же не погреть руки на гибели Запада? Тут мне приходится рассказать американцам, что даже если в деньгах счастье, что все равно на Западе мне никогда не добраться до самой вершины богатства, на которую я был вознесен в советской империи. Ведь в Соединенных Штатах 407.700 миллионеров. А в советской империи я был один — беднее лишь того, кто обладал всей властью и следовательно владел всей страной (включая меня). На это я в Нью-Йорке часто слышу (с ужасом): «Зачем же вы уехали?»

## У МЕНЯ ДЛЯ ВАС ПЛОХИЕ НОВОСТИ

С 1980 г. я как бы превратился в свое собственное телеграфное агентство, чьи новости имели мало общего с новостями западных и открытых советских средств информации. В своей программе 11 января с.г. радиокomentатор Бэрри Фарбер (тоже «один против всего мира») сказал об этом так: «Лев Наврозов смотрит на мир с такой точки зрения, с которой не смотрит на него ни один обозреватель или комментатор в Соединенных Штатах. У него самый пристальный и самый трезвый взгляд на то, что в мире происходит».

Ничего нового или удивительного, Бэрри, дружище. Почитайте новости 30-х гг. в газете «Нью-Йорк Таймс» из Москвы и новости газеты «Правда», начиная со «злодейского убийства Кирова» 1 декабря 1934 г. Эти новости имеют мало общего с тем, что было известно, скажем, нашей семье, а затем и лично мне, после того как я лично убедился, что материалы о «злодейском убийстве Кирова» были заготовлены в «Правде» до того, как «злодейское убийство» произошло. Сверить время убийства Кирова и время выхода «Правды» — плевое дело. Но никто из лиц, мне известных,

этого не сделал ни на Западе, ни в советской империи, ни тогда, ни в течение более чем полувека, истекших с тех пор.

Подобно тому, как «злодейское убийство Кирова» символически было самым значительным событием в советской империи 30 гг., «трагическая гибель Машерова в автомобильной катастрофе» 4 октября 1980 г. была самым символически значительным в этой империи событием 80-х гг. «Злодейское убийство» означало необратимый приход Сталина к власти (на двадцать лет), а «трагическая гибель» — приход к власти КГБ (пока что на семь лет и четыре месяца) в лице его тогдашнего главы Андропова и его тогдашнего заместителя по особо важным делам Чебрикова, ныне главы КГБ. Андропову и Чебрикову необходима была в Политбюро ширма, фасад, марионетка, каковая не ассоциировалась бы с КГБ. Они выбрали ставропольского секретаря (по имени Горбачев) во время пребывания последнего на минеральных водах и произвели его в 1979 г. в кандидаты в члены Политбюро.

Но дальше — заминка. Следующим членом Политбюро должен быть Машеров, кандидат с 1966 г., с семью орденами Ленина, и все такое прочее. Никак новоиспеченный кандидат из Ставрополя против него не тянул, а посему семижды орденосец «трагически погиб» за пару недель до пленума ЦК, на котором марионетка Андропова-Чебрикова и была произведена в члены Политбюро.\*

Разбор «злодейских убийств» и «трагических гибелей» требует много времени и бумаги. Поэтому я опущу «автомобильную катастрофу» 4 октября 1980 г. и всю эпидемию «автомобильных катастроф» в верхах (как сказала плача супруга одного ответственного работника: «Мой муж — следующий»). А перейду к происшествию, которое позабыло Запад, а также его успокоило, показав, как советская

\* Спешу оговориться. Не исключено, что Горбачев чудом всех обхитрит (вспомним Сталина) и придет к власти. Но речь идет не о будущем, а о прошлом. На сегодняшнее число (15 января 1988 г.) Горбачев столь же безвластен перед лицом КГБ, сколь он был безвластен 10 лет назад.

империя стала до того западной, что даже скандалы в самом благородном семействе Брежневых становятся всемирно известными — совершенно как скандалы в правящих кругах Лондона или Вашингтона. Только послушайте: в начале 1982 г. КГБ обнаружил краденые бриллианты в квартире любовника дочери Брежнева, после чего муж сестры Брежнева (и между прочим, заместитель Андропова) застрелился (недремлющее око Брежнева в КГБ навеки закрылось).

Но ведь любой «там» или «оттуда» знает, что у дочерей членов Политбюро, не говоря уж о генсеках, любовников быть не может, и само слово в такой связи — чудовищная нелепость, заведомая клевета и посему преступление. Что же касается краденых бриллиантов, то выходит, что генсек и его семья — приемщики краденого, члены воровского мира, уголовное дно общества. Ясно, что власть была у КГБ, а у Брежнева ее больше не было.

Сделав свою марионетку генсеком в 1985 г., КГБ вычистил Политбюро (к концу прошлого года все его члены были выброшены, кроме четырех, а Чебриков стал его членом, дабы Политбюро, чего доброго, не вздумало заговор устроить против КГБ). Исторически, органы безопасности можно было сбросить лишь с помощью вооруженных сил. Но и тут КГБ сильно их почистил. А для того, чтобы Горбачев понимал, что он — кукла, Лигачев объявил 4 декабря в Париже в газете «Ле Монд», что Горбачев лишен и своей главной административной функции: руководства Секретариатом\* (на чем Сталин некогда и пришел к власти). Дескать, секретарь-то он генеральный, но только без секретариата.

Ни «Нью-Йорк Таймс», ни «Вашингтон Пост», ни три телевизионных сети США не обмолвились ни словом об интер-

\* Он сказал, что Горбачев в заседаниях секретариата вообще не участвует, а об их результатах его только информируют.

вью Лигачева газете «Ле Монд». Какого же понимания происходящего можно ждать от них в 1980 г., если и в 1987 г. они не желали видеть, что происходит даже в Париже, не говоря уж о Северодвинске.

Когда Оруэлл в 1949 г. написал «1984» предполагалось, что тоталитарное общество на территории Российской империи достигло своего высшего завершения. А после смерти Сталина началось его расслабление, размягчение, раскрутка, развинчивание, либерализация, разложение, распад. На самом деле оно перешло в свою более изощренную (если хотите, высшую) фазу, перейдя от обороны к наступлению на Запад.

Прежде всего оно завершило тайность власти. Сталин был вплоть до 1939 г. лишь «парработником», а не главой государства или главой правительства. Но он не выдержал этой роли, стал себя славить, и вскоре Запад вынужден был считать верховным представителем его, а не Калинина или Молотова. Только теперь осуществлено разделение власти, подобающее тоталитарной империи — на лжевласть (в виде лжеглавы государства, лжеглавы правительства и даже лжегенсека, лже-Политбюро и лже-ЦК) и действительную тайную власть тайного КГБ, которому и надлежит «владеть и править» рабовладельческой империей в ее борьбе за власть над миром. Возможно, все внешние признаки КГБ, вроде здания на Лубянке, будут упразднены для того, чтобы КГБ стал полностью тайным.

Стратегические выгоды разделения власти на показную лжевласть и тайную, действительную власть, — очевидны. Нет опасности в том, что лжеправитель может быть убит, скажем, при поездке за границу: ведь он же никто. Если он попытается бежать во время такой поездки, его охрана КГБ пошлет ему пулю в затылок, и опять же никакого ущерба: лишь небольшой переполох: один Руски убил другого Руски.

Лжевластитель милостив, свободолюбив и прогрессивен — это как бы сочетание Ленина и Керенского в одном лице, с добавкой Столыпина и чуток Рябушинского. Угождай ему,

Запад, ибо его враги — это темные силы реакции, Лигачев, сталинисты, поджигатели войны.

Уже Сталин учредил знаменитые «выборы», игру в демократию под надзором органов безопасности. Очевидно, КГБ может развить эту игру так, что Запад будет в полной уверенности, что налицо демократия, и полностью разоружится. Можно себе представить, например, парламент или конгресс в Москве, который скрупулезно воспроизводит Парламент в Англии или Конгресс в США. Лидер Демократической партии, например, Сахаров, ведет ожесточенные дебаты с лидером Русской партии, например, Солженицыным, после чего следует бурное голосование. Но все это будет, разумеется, безупречно поставленный спектакль, участники которого в лучшем случае комедианты поневоле, или комедианты, неведомо для себя, искренне верящие, что все это не игра, а действительность.

С легкой руки Оруэлла считается, что тоталитарное общество всегда в глухой защите: не дай Бог его обитателю услышать свободное слово с Запада. Но чего же бояться свободного слова с Запада? Кто его вещает? Западные ученые-гуманитарии или журналисты — это в основном бездарности, которые прикрываются маркой корпорации-гильдии. Да их не существует вообще — существует корпорация-гильдия: «Йельский университет» или «Нью-Йорк Таймс». Американский обыватель трепещет от восторга и уважения, слыша эти названия. Но советским-то пропагандистам на них наплевать. Советские пропагандисты легко могут в споре разгромить всех этих корпоративных бездарностей, причем на их родном английском языке. Узы, Оруэлл не показал тоталитарное общество в его мирном наступлении на Запад, а это куда страшнее, чем его глухая защита во времена Сталина.

### **САМОУНИЧТОЖЕНИЕ ОБОРОНЫ ЗАПАДА**

Естественно, что КГБ полагает, что Западом — этим главным препятствием на пути к мировому господству —



можно овладеть его, КГБ, средствами в мирное время, а не вооруженными силами. Конечно, советское военное превосходство над Западом должно непрерывно расти, создавая все более глубокий психологический фон для подавления воли к сопротивлению. Разумеется, возможно представится целесообразным произвести военный захват всей Евразии сразу (с тем, чтобы США нигде не смогли бы высадить свои вооруженные силы) или же произвести ядерное нападение на весь ядерный потенциал США. Но все же Сталин овладел Чехословакией к 1949 г. мирными средствами органов безопасности, причем никто их деятельности не заметил (вот только Массарика выбросили из окна уж чересчур грубо). Запад же — это лишь большая Чехословакия, не правда ли?

В декабре прошлого года Рейган заявил в своем интервью четырем известным корреспондентам, что Горбачев (которого Рейган и ЦРУ принимают за верховного правителя вроде Сталина, Хрущева или Брежнева у власти) более не стремится к мировому господству. Впрочем, ЦРУ утверждает подобное уже с 1974 г., если не ранее. Таким образом, уже Брежнев к мировому господству стремиться перестал. Ни одна газета, кроме «Нью-Йорк Сити Трибюн» и «Вашингтон Таймс» не сообщила даже о самом факте этого интервью. Но если советского стремления к мировому господству не существует, то не нужна ни глобальная оборона Запада, ни даже оборона США. Ведь между советской и американской стороной нет никакого пограничного спора. Зачем же тогда вообще нужны вооруженные силы США? Не обороняться же против Канады и Мексики?

На этом фоне, подписание Рейганом 8 декабря 1987 года «Соглашения по РСД-РМД» (ракетам средней и меньшей дальности) представляется менее чудовищным или во всяком случае более понятным. Ведь «соглашение» — трюк, понятный и семилетнему ребенку. Чтобы его принять за чистую монету, надо к тому же не знать ни истории стратегии, ни ее азбуки, то есть быть стратегически безграмотным.

Во время Второй мировой войны Англия создавала целые ложные армии для показа разведывательным самолетам противника. А настоящие вооруженные силы прятала, маскировала. Кто не понимает цель подобной военной хитрости и обмана противника. Да нет такого советского лейтенанта! «Ясное дело, товарищ капитан. Противник принимает наши ложные объекты и силы за настоящие и уничтожает их ценою потери своих настоящих сил. А наши скрытые, настоящие силы затем его уничтожают».

У советской империи огромные преимущества по сравнению с Англией Второй мировой войны. У Англии были иногда лишь считанные часы и дни, чтобы создать ложные военно-стратегические объекты и ложные вооруженные силы. У советской империи — годы и десятилетия. Военная хитрость, обман противника, маскировка — встроены в саму советскую цивилизацию: внутри она — машина-орудие для глобальной борьбы за мировое господство, а снаружи — показуха, комуфляж, фасады «мирных гражданских учреждений и предприятий», внутри которых и под которыми — оружие (хотя бы те же РСД и РМД), закрытые лаборатории, закрытое производство, подземные командные пункты и все прочее. Целая скрытая военно-стратегическая цивилизация, словом.

Еще до начала Второй мировой войны советские самолеты фотографировали вооруженные силы Германии с высоты в 150 метров (я нашел это в немецких архивах). А спутники не могут опускаться существенно ниже 150 километров, причем в самый ясный солнечный день атмосфера теоретически не может быть абсолютно прозрачной при такой толще, и никакая электроника не может собрать информацию, рассеянную триллионами хаотических молекул воздуха. Расплывчатость (низкая разрешающая способность) космических фотографий — секрет ЦРУ от американского народа, но не от меня (у меня коллекция этих фотографий), и уж тем более не от КГБ и ГРУ (которые над моей скромной частной коллекцией посмеются).

Словом, советские стратеги подставляют под американские спутники над советской территорией по возможности ложные военные объекты и вооруженные силы, в частности, ложные ракеты. А уж ложные РСД и РМД даже и изготовлять не надо. Ведь, скажем, и РСД-10, и ее «контейнер» выглядят, как обрезки трубы длиной в 16 метров. Надо выставить лишь пустой контейнер. Вот вам и ложная РСД-10.

Не могу удержаться от курьезной детали. С точки зрения азбуки маскировки, ложные ракеты надо тоже маскировать, но так, чтобы противник «разглядел через маскировку». Если же их вообще не маскировать, то никакой противник не поверит, что ракеты настоящие. Дескать, если они настоящие, то почему ж не замаскированы? Но тут загвоздка. Космические фотографии настолько расплывчатые, что если замаскировать РСД-10 хоть как-нибудь, лишь для блезиру, чтоб показать противнику, что маскировка, мол, есть, то западная разведка вообще не поймет, что расплывчатые пятна на космической фотографии — это и есть РСД-10 или пустой контейнер от нее.

Еще в 1978 г. я показал (а Рейган согласился, и никто этого никогда не опроверг), что западного шпионажа-разведки в советской империи никогда не существовало, не существует и при нынешнем уровне западной разведки не может существовать. Были, конечно, перебежчики, вроде Аркадия Шевченко, которого западная пресса представила как «самого высокопоставленного советского руководящего работника, который когда-либо перешел на сторону Запада». Человек он замечательный, он — герой, и мемуары его замечательные. Но только что же он знает, скажем, о ракетах РСД, кроме того, что все мы, эмигранты, знаем? Ведь секретного плана из сейфов Совета обороны или учреждений, ведающих стратегической маскировкой ракет, он с собой не вывез. Возможно, он никогда и не слышал, что вообще существует некий Совет обороны или некие учреждения, ведающие стратегической маскировкой.

Поэтому, сообразив, что расплывчатые пятна на космической фотографии — это РСД-10 (то есть контейнер, но уж, конечно, наверняка в нем и сама ракета!), ЦРУ приходит в неопишемую радость. Наконец-то оно занимается настоящей разведкой-шпионажем, проникнув в самую глубь советской империи. Недаром в западной печати космические спутники называются «космическими шпионами» или «глазами в небе». Все-то они знают, все-то они видят, наподобие Бога.

И с благословения всезнающего и всевидящего ЦРУ, бывший актер Голливуда Рейган (который десятилетие назад сам же вместе со мной над ЦРУ потешался) лихо подмахивает «Соглашение по РСД-РМД», то есть по ложным советским ракетам, подлежащим уничтожению в обмен на уничтожение настоящих американских ракет.

С советской стороны, ложное соглашение о ложных ракетах, естественно, подписывает ложный глава ложного государства, которого Рейган обласкивает, как Черчилль — Сталина, принимая за настоящего верховного правителя вроде Сталина или хотя бы Брежнева до 1980 года.

Соглашение предусматривает, что американские инспекторы имеют право «видеть своими глазами» уничтоженные «советские ракеты», но 1) последние не содержат, согласно тексту Соглашения, ни ядерных боеголовок, ни системы управления-наведения навигации; 2) «уничтожение производится в контейнерах» (а что внутри?); 3) инспекторы имеют право вести только «внешнее визуальное наблюдение» (то есть, ни тебе заглянуть внутрь контейнера, ни хотя бы постучать по нему костяшками пальцев: «Эге, да он пустой!»); и, наконец, 4) инспекторы не имеют права ничего фотографировать сами, а могут лишь просить советскую сторону снять фотографию.

Во время моего дебата по радио с работником администрации Рейгана и левым либерал-демократом мне был задан вопрос: «Но есть ли у вас неопровержимые данные о том, что уничтожаемые ракеты ложные, фальшивые, нена-

стоящие?» Ответ, понятный всякому американцу, может быть таков. «Некто показывает вам футляр и говорит, что внутри настоящий (не фальшивый!) бриллиант стоимостью в один миллион долларов, но он, так и быть, обменяет его на ваш бриллиант, стоимостью всего в 200.000 долларов. Однако, вы не имеете права даже дотрагиваться до самого футляра: вы имеете право лишь видеть сам футляр «собственными глазами». Уверю вас, и американский ребенок семи лет не пойдет на подобную сделку. «А если, мистер, у вас внутри футляра — ха-ха-ха — кукиш?»

Что же касается возможности маскировки любого числа настоящих РСД-10, то 17 декабря, меньше чем через десять дней после подписания Соглашения, «Правда» писала в своем подновленном живописном стиле о ракетном дивизионе РСД-10: «Погружается в глушь, в природу. Кочующее военное поселение, меняющее среду обитания, совершающее неведомое противнику движение среди бескрайних полей и лесов. Тщетно искать его из космоса, шупать лучами радаров».

Разумеется, я привел цитату в своей колонке. Звонок из Конгресса, «Из вашей цитаты из «Правды» следует, что советская сторона может спрятать любое число ракет?» — «Разумеется». — «И сама «Правда» об этом пишет?» — «Номер «Правды» передо мной. Статья: «РСД-10: размышления на стартовой позиции». На полполосы. С фотографией РСД-10. Между прочим, РСД-10 на этой фотографии ничего не имеет общего с тем, как выглядит РСД-10 на фотографии газеты «Красная звезда» от 19 декабря». — «Что-о-о?» — «Но какое же это имеет значение? РСД-10, которые видит ЦРУ со спутников и которые подлежат уничтожению, — ложные. А потому не все ли равно, как они внешне выглядят?»

При слове «ложные» собеседник замолкает. Так, расхвалив мой ум, Сол Беллоу заметил, что «однако, с западной точки зрения, ум Наврозова необычайно искривлен». Слово «ложные» — это как бы незападное искривление моего в остальном западного ума, русский пункт помешательства человека в остальном разумного.

Собеседник мой также замолкает, возможно и по другой причине. Член Конгресса существует в общественном смысле лишь постольку, поскольку о нем пишет «Нью-Йорк Таймс», единственная газета для всей культурно-политической элиты США. Если член Конгресса начнет говорить о ложных советских вооруженных силах, газете «Нью-Йорк Таймс» будет ясно, что это «искривление» идет от меня, даже если он моего имени не назовет. А лица во главе газеты «Нью-Йорк Таймс» скажут о нем, в переводе на русский язык без нецензурных выражений: «Так этот сенаторишка с Наврозовым снюхался, с этим сумасшедшим Руски? К тому же наверняка советским шпионом. Вырежь-ка сенаторишку из завтрашней статьи: «Правые в Конгрессе». Да и фотографию его выбрось заодно. Найди другую».

Странно, но никто не задал мне вопрос: «Зачем же «Правда» заявила, что РСД-10 могут быть спрятаны?» Действительно, зачем?

Во-первых, РСД-10 может быть спрятана под любой мирной гражданской крышей или навесом, достигающими в длину 16 метров. «Правда» же пишет о так называемой природной маскировке (под хвойными деревьями, например), чтобы отвлечь внимание от крыш и навесов.

Во-вторых, советские стратеги правильно рассчитали, что этот абзац пройдет на Западе незамеченным. На 15 января никто о нем, кроме меня, не написал ни строчки ни в одном периодическом издании мне известном. В Конгрессе же моя цитата из «Правды», возможно, также канула в бездну забвения среди куда более важных материалов, как, например, (философских) размышлений доктора философии Збигнева Бжезинского о текущем политическом моменте. Где же мне тягаться с университетскими корпорациями, присвоившими Бжезинскому звание доктора философии? «Я не принадлежу к корпорациям, значит, я не существую в общественном смысле».

С другой стороны, абзац в «Правде» — сигнал для всех сторонников власти советской империи над всем миром:

прочтя абзац, они-то увидят, что КГБ облапошивает американское мещанство, а Соединенные Штаты — и следовательно, Запад — выходят напрямую к гибели. Этот абзац — как бы издевка над Рейганом (которого КГБ воспринимает как невежественную, безвольную, доверчивую бабушку-мещанку). Власти предержавшие на Западе эту издевку не заметят, ибо американские президенты, начиная с Никсона, убеждены, что «Руски» на вершине советской империи их явно или тайно обожают, признают их умственное превосходство и горды их вниманием к себе. А те, кому надо, эту издевку заметят и сделают выводы в отношении своего дальнейшего поведения.

Если «Соглашение по РСД-РМД» пройдет через Конгресс, то откроется путь всеобщего разоружения США в мирное время путем самоуничтожения вооруженных сил США через уничтожение ложных советских ракет. Стратеги 30-х гг. и Второй мировой войны о таком и не мечтали: разгром противника в мирное время путем самоуничтожения им своих вооруженных сил.

### **СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ, КРОШКА?**

Советскую военную хитрость или обман противника под названием «Соглашение по РСД-РМД» мог бы раскусить и семилетний ребенок. Целая цивилизация — Запад — (на 15 января с.г.) на нее поддается. Как же это возможно?

Советская цивилизация устроена, построена, перестроена для стратегической борьбы-войны с целью достижения мирового господства. Западная цивилизация создана «для жизни, свободы и погони за счастьем» (буквально переводя «Декларацию независимости»),

У меня нет места в этой статье говорить о наращивании советского военного превосходства, неизвестного западной разведке. Поэтому я лишь замечу, что советскую империю можно уподобить тигру, наращивающему мышцы для прыжка на человека. Запад же можно уподобить человеку

в погоне за счастьем. Как может человек одолеть тигра? Только лишь с помощью ума, превосходящего стратегически ум тигра. Так это и случилось в эволюции человека и животного мира.

Но вот что мы замечаем: советский тигр оказывается стратегически умнее западного человека!

Стратегический ум цивилизации определяется тем, насколько самые одаренные двигаются вверх во всех областях, представляющих стратегическую ценность. В советской империи мощный социально-экономический насос тянет вверх все в этом смысле одаренное, причем уникально одаренному («гению») предоставляется возможность жить, как ему нравится.

Факультет референтов, на котором я учился, был основан в 1948 г. по личному указанию Сталина, который назначил нам стипендию в размере средней зарплаты врача. Можно ли себе представить в США студентов русского языка, получающих стипендию, равную среднему доходу американского врача?

На Западе действует, возможно, столь же мощный социально-экономический насос: но он тянет вверх все одаренное не в областях, представляющих стратегическую ценность, а в областях, приумножающих богатство.

На долю стратегически ценных, но не коммерческих областей остаются лишь те, кто готов пренебречь доходами в миллионы и десятки миллионов долларов в год и довольствоваться доходом порядка десятков тысяч в год. Причем эти отвергнутые (отверженные?) отнюдь не живут такими вольными дворянами, как я жил на даче. Они — члены корпорации. Что это значит, знает даже рядовой советский служащий, но только корпорация часто коллективнее, бюрократичнее, безличнее советского учреждения.

Без сомнения, корпорация «Нью-Йорк Таймс» является стратегической, ибо никаких «белых» и прочих закрытых ТАССов здесь нет, и сведения о мире президент (да и ЦРУ!) получают из той же газеты «Нью-Йорк Таймс», как и любой

заклученный, ее выписывающий. Но спросить газету: «А кто в истории вашей газеты с 1896 г. был гением?» — это все равно, что было спросить средневековую гильдию бочаров: «А кто в истории вашей гильдии был гений?» — «Гений? Всякий мастер, посмевающий отклониться от того, как делают бочки другие члены гильдии, их деда и прадеды, подлежит наказанию в виде уничтожения его бочек».

Культурные корпорации возникли из средневековых гильдий и несут дух их средневековой воинственной посредственности. В университетской корпорации будь бакалавром, потом мастером, а затем доктором философии. Так было в средневековье, так есть и так должно быть. Для меня было всегда символично, что слово «схоластический» означает в английском языке «относящийся к гуманитарным наукам», разумеется, корпоративным. Даже поэт в американском представлении — это «схоласт», университетский чиновник на жалованье, ласкаемый корпорацией «Нью-Йорк Таймс» и получающий поэтому премии в добавление к жалованью.

В производстве средневековых бочек установленного образца или в заучивании наизусть текстов — этот средневековый гильдийский подход, возможно, наилучший. Но а в стратегически ценных областях?

Доктор философии Збигнев Бжезинский получил свою степень в лучших университетских корпорациях США, с тех пор производит труды в области советологии и стратегии, был советником президента Картера по безопасности Соединенных Штатов. Я проанализировал все его труды в статье, занимающей 50 печатных страниц («Глобал Афэарс», зима 1987 г.) Укажу лишь на один вывод статьи. Умственные способности у Бжезинского достаточны для производства бочек установленного образца или даже для заучивания отдельных фраз наизусть. Но в области советологии или стратегии Бжезинский, как и сотни тысяч других докторов философии, не имеет никаких способностей. Лицам с умственными способностями ниже среднего бесполезно

«давать образование» лишь потому, что у родителей есть на это деньги. Бжезинский обладает способностью заучивать наизусть целые фразы. В средневековье это представляло ценность в силу дороговизны книг и отсутствия магнитофонов. Но в настоящее время для Запада было бы полезнее, если бы миллионы бжезинских — докторов философии в стратегических областях, журналистов, офицеров, работников разведки и им подобные — изготавливали бы бочки установленного образца, а не повторяли заученное наизусть.

Но все же, неужели миллионы этих взрослых бжезинских не могут понять то, что понял бы и семилетний ребенок?

Семилетний ребенок сосредоточивается на задаче и понимает, что в футляре от бриллианта самого бриллианта может и не быть. Миллионы бжезинских не могут сосредоточиться даже на такой задаче: каждый из них производит корпоративную схоластику, повторяя заученное, что приводит к тысячам тонн в день оттисков их печатных трудов и сотням миллионов их изображений на экране. Они не просто бесполезны: они смертельно вредны, мешая избирателям сосредоточиться и забывая все общественные каналы своей корпоративной схоластикой.

А главное, в то время как КГБ, владелец советской империи, кровно заинтересован в приобретении и остальной части мира, культурно-политические корпорации часто ни в чем не заинтересованы, кроме выплаты бжезинским их корпоративного вознаграждения и защиты их от некорпоративных личностей, распространяющих мысли неустановленного образца.



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

## ЭССЕ О ГОВОРЯЩЕЙ РОССИИ, ИЛИ ПЕРЕСТРОЙКА КАК ПОЭТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА

*СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В ЗЕРКАЛЕ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»*

Все, кто следит за происходящим в СССР, сходятся во мнении, что более всего там изменился облик печати. Поистине, сегодня на страницах «Литературки», «Огонька» или «Московских новостей» можно прочесть такое, чего недавно еще невозможно было представить. Раздаются голоса, что у советской печати вообще не осталось запретных тем: газеты и журналы пишут обо всем, что происходит в жизни. Вряд ли это так, однако от их серости и безликости брежневских времен не осталось и следа.

Естественно, что перестройка или то, что в стране называется перестройкой, является главной темой печати. При этом считается, что советские люди единодушны в своем одобрении нового курса партии. Но так ли это на самом деле? И если не так, то как понимают происходя-

щее граждане СССР? Что от нее ждут различные круги советского общества? И, наконец, каким оно само предстает в зеркале перестройки? Чтобы ответить на эти вопросы, потребовалось бы обширное социологическое исследование. На это, естественно, не могут претендовать предлагаемые заметки. Я просто решил взять один журнал, точнее один только номер журнала «Огонек» (№ 37, за 12-19 сентября 1987 года), посмотреть, кто и о чем пишет на его страницах и таким образом представить умонастроения его читателей и авторов.

Для начала приведем выдержки из некоторых публикаций этого номера. Более всего привлекает внимание дискуссионная страница журнала, публикуемая под рубрикой «Слово читателя». Естественно, прежде всего люди пишут об экономике страны, о кризисе ее хозяйства, о своих материальных невзгодах. Приведем в качестве примера письмо мо киевлянина Любакова:

**Я часто гощу у родственников в городе Жашкове Черкасской области. Район этот сельскохозяйственный, но купить в магазине картошку, помидоры, морковь, лук невозможно. Также не бывает и масла по госцене, хотя есть свой маслозавод. Но вот приехал первый секретарь Черкасского обкома партии, и на один час на прилавках появилось все. Зачем эта показуха?**

Или другое письмо — жителя Тюмени Н.Токарева, который следующим образом откликается на рассуждения академика Аганбегяна о социальной справедливости, опубликованное в 29 номере «Огонька».

**Я получаю пенсию 120 рублей. Видимо, в оставшиеся мне немногие годы пенсия моя ни на один рубль не увеличится. В слова академика о том, что повышение цен на мясо, масло, хлеб будет компенсировано прибавкой пенсии, я не верю, хотя бы по той простой причине, что он скромно умолчал о неуклонном наступлении цен. За несколько месяцев буханка хлеба стоимостью в 16 копеек превратилась (при ухудшении качества) в 20, а ныне и в 24 копейки. Я уже не говорю о кооперативных ценах на мясо, колбасу. Возьмите меховые изделия: шапку из ондатры я покупал за 23 рубля, сегодня ей такая цена, что и во сне не приснится.**

Как же сопоставить это с цветистыми рассуждениями академика о социальном равенстве, индустрии благосостояния? Не слишком ли велик зазор между словами и делами?

А вот мысли публициста и социолога Тамары Афанасьевой о демографическом кризисе, переживаемом страной.

...Растущее число «отказных» детей, сирот, отобранных у нерадивых пап и мам, множество врожденных инвалидов — все эти бьющие в глаза, ранящие сердце картины свидетельствуют о глубоком нездоровье основной ячейки общества — семьи...

Вот данные, опубликованные недавно в «Учительской газете», в интервью замминистра просвещения СССР А.Коробейникова. В стране более 15 миллионов неполных семей (матерей-одиночек, разведенных, вдов с детьми). По стране в среднем 50 процентов однодетных семей (в РСФСР — 58 процентов). Известно: каждая третья беременность завершается абортom. Среди рожениц и подвергшихся аборту стремительно растет число девушек до 16 лет. Какие нужны еще доказательства тяжелого кризиса, переживаемого семьей?

Социологи связывают с семейным неблагополучием такие опасные для общества явления, как алкоголизм (он и причина, и результат домашних неурядиц), наркомания, проституция. В итоге всего этого — несчастные дети. А они, набираясь лет и опыта, сами плодят поколение, несущее в себе гены несчастья...

Теперь другая сфера жизни — искусство, театр, режиссер, актер. Кризис, переживаемый обществом в этой области, выглядит ничуть не менее острым, чем в экономике или социальной жизни. Посмотрим, что пишет автор статьи «Год испытаний» Борис Любимов о перестройке и гласности в советском театре.

...В атмосфере «печального детектива», в которой влачит существование едва ли не большая часть столичных театров, нельзя создавать подлинное искусство.

Отсюда и диктаторские замашки многих лидеров, желание найти причину собственных неудач в других (прямо по А.Твардовскому: «Любой своих просчетов ворох перенести на чей-то счет»), демократическая фразеология за стенами своих театров и «феодалская лестница» взаимоотношений внутри театра, прорвавшаяся в пылу страсти; «балласт», «чернь» — как только ни называли рядовых актеров последнего времени...

...Кабинетные идеи рождаются необязательно в министерских кабинетах. Они сочиняются в кабинетах режиссеров, актеров, драматургов, критиков. Одна из самых опасных театральных идей последнего времени — идея Свободного, Доходного и Хорошего театра. То есть спорить

с тем, что появление такого театра крайне желательно, вряд ли кто-нибудь будет. А вот то, что такой театр в ближайшее время будет создан (не модель, а сам театр), есть все основания сомневаться... Столь же бесплодна идея превращения актера в свободного художника. А, собственно говоря, от кого будет «свободен» свободный актер? Можно только предположить, в какую кабальную зависимость от нынешних антрепренеров попадут актеры и особенно актрисы. Вот и будут бродить из Вологды в Керчь Счастливицы и Несчастливицы, неся в котомках за плечами право на дополнительную жилплощадь («обозначено в меню, а в натуре нету»). Ссылки на зарубежные примеры малоубедительны. Во-первых, потому, что нельзя вводить левостороннее движение только для «Запорожцев» — будут аварии. Нельзя, чтобы права режиссеров были, как «при социализме, а у актеров — как при капитализме»... Предположим, не сложилась судьба актера, и в сорок лет он решил изменить профессию. Куда он или она пойдет? Станут к станку, начнут доить коров?.. Конечно, ближайшая для них сфера — сфера обслуживания. Продавец, официант, стюардесса... В 40-50 лет он и здесь будет отстающим...

Так что в быстрые преобразования в сфере театра, в театральные мечтания последнего времени, сильно напоминающие речь Остапа Бендера в Васюках, верится с трудом...

Что характерно — в журнале мы вообще не находим холодных, серых и беззубых материалов. Другой вопрос — может быть, самый важный — против чего направлены критические стрелы читателей, только ли против застоя и рутины? За что они борются, только ли за демократизацию и обновление советского общества? Или есть у них другие предметы беспокойства, подчас мало знакомые западному читателю? Чтобы ответить на эти вопросы, приведу еще два письма из того же номера «Огонька». Письма эти посвящены формированию молодого поколения, однако оба автора, может быть, сами того не замечая, выходят далеко за рамки этой темы. Итак, вначале письмо электромонтера Н.Лобова из города Курган, публикуемое на той же дискуссионной странице и под той же рубрикой «Прошу слова!» Письмо настолько любопытно, что я решил привести его почти без изъятий:

Я обращаюсь со страниц «Огонька» к вам, молодые!

Не знаю, удастся ли мне прорваться к вам со словом правды (до сих пор не удавалось!) через заслон старых стереотипов. Но если не сейчас, то рано или поздно это случится...

Я, пятидесятилетний человек, прошел через все то, что мучает вас сейчас... Самый существенный недостаток в нашем обучении — то, что нам не дали философского и исторического образования, и, не овладев диалектическим методом анализа действительности, мы оказались невеждами. Ведь коммунистическая партийность — это претворенная в действие диалектика, которая ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна. Кому-то было выгодно наше философское невежество и замалчивание исторической правды, а сейчас пришло время, когда теоретическое наследие марксизма будет снято с полок и пущено в действие. Но это не произойдет само по себе, без ожесточенной борьбы. Долгие годы нам придется залечивать последствия нашего невежественного бездействия и возвращенного на этой благодатной почве воинствующего индивидуализма.

Я беспартийный, простой электромонтер, у меня двадцать с лишним лет производственного стажа, десять лет — спортивный тренер, никаких спецкурсов по партийной грамоте не кончал, но путем самообразования сам дошел до необходимости разобраться в сложном многообразии жизни...

Так определите же поскорее свое место в той борьбе за будущее страны социализма, которую ведут наша партия и народ...

Но, может быть, Н.Лобов со своей ностальгией по прошлому — всего-навсего «белая ворона» в рядах поборников демократизации страны. В том-то и дело, что он не одинок. Чтобы далеко не идти, приведем еще одно письмо — старшего лейтенанта Берлизова из Краснодара, который следующим образом откликается на интервью с педагогом Щетининым «Учить себя», («Огонек», № 29, 1987). Щетинин, как станет ясно ниже, высказал ряд новаторских, нетривиальных идей относительно необходимости перестроить советскую школу. А вот что по этому поводу думает старший лейтенант Берлизов:

...Откуда взяться идеалам у сегодняшнего подростка, чей дед рыдал в день смерти И.В.Сталина, тремя годами спустя громким шепотом с приятелем мусолил «клубничку о культе», еще пятью годами позже аплодировал тем, кто выбросил И.В.Сталина из Мавзолея? Отец сегодняшнего подростка на собраниях и митингах рассыпался в преданности «лично Леониду Ильичу Брежневу», а сейчас на собраниях и митингах с пеною у рта обличает «застойные явления»?

Чего проще: объявить все, что было до тебя, сплошной ошибкой. Советское и партийное руководство сегодня на официальном уровне

таких заявлений не делает, однако многочисленные борзописцы торопятся выслужиться... Надо сказать, что охаивание целых шестидесяти советских лет (с 1925-го по 1985-й) оказывает дурную услугу самой идее перестройки, поскольку люди попроще понимают это именно как способ самоутверждения на манер бывшего товарища Хрущева.

Выступление Щетинина в «Огоньке» считаю образцом замаскированного растления молодого читателя. Если его педагогическое «новаторство» включается в пропаганду таких идей, то мне вполне понятно, почему люди, которым доверено руководить советской педагогикой, его не приемлют. По-моему, это компетенция не педагогов, а органов государственной безопасности.

Считаю своим долгом заявить, что под видом «борьбы за «перестройку» в нашей стране творится опасное антигосударственное дело, заключающееся в проповеди полнейшего нигилизма в отношении к героическому прошлому Советской страны, к истории социализма. Проводниками этой линии считаю «непризнанных гениев» вроде Щетинина и нечистоплотных лиц, овладевших средствами массовой информации...

Никакого отношения к перестройке, гласности и всем тем прекрасным вещам, о которых говорилось на XXVII съезде КПСС и последующих Пленумах, эта истерия ниспровержений не имеет. Поэтому я считаю проводников этой системы врагами Советской власти и провокаторами, дискредитирующими идею перестройки и компрометирующими ленинскую партию.

Я взял лишь один номер «Огонька», но к каким бы изданиям мы ни обратились, будь то «Литературка», «Московские новости», «Неделя», — везде увидим ту же картину, что и в приведенных выше статьях и письмах. При том, что они касаются разных тем и написаны в разном ключе и принадлежат людям разных профессий, — при всем этом нетрудно уловить водораздел, который как бы подразделяет сегодняшнее советское общество на два лагеря. С одной стороны, это такие люди, как публицист Тамара Афанасьева, пишущая о демографическом кризисе в СССР, как театровед Любимов, отстаивающий демократизацию советского театра, это киевский геолог Любаков и житель Тюмени Токарев, да, по существу, это все те советские граждане, которые искренне желают видеть свою родину свободной и демократической страной. Ну а другой лагерь? Кто в нем? Существует мнение, что другой лагерь — это



партийные догматики, это военные и сотрудники КГБ, которые якобы противостоят широким массам, рвущимся к свободе, демократизации и подлинной перестройке. Но так ли это? В связи с этим я хотел бы снова вернуться к письмам Н.Лобова из города Курган и старшего лейтенанта Берлизова из Краснодара. Речь, впрочем, идет не о них одних, но о многих, чьи голоса не обязательно раздаются со страниц газет и журналов. Я хотел бы это специально подчеркнуть, что отнюдь не только те, кого принято называть номенклатурой, но часто и рядовые советские граждане составляют другой лагерь советского общества. Характерно, что они отнюдь не считают себя консерваторами или догматиками, наоборот, они утверждают, что они и есть активные борцы за перестройку. Да вот только в само понятие «перестройка» они вкладывают свой смысл.

«Кому-то было выгодно наше философское невежество и замалчивание исторической правды, — пишет Н.Лобов, — а сейчас пришло время (читайте: время перестройки» — *В.П.*), когда теоретическое наследие марксизма будет снято с полок и пущено в действие. Но это не произойдет само по себе, без ожесточенной борьбы...»

Поистине здесь недостает только «врагов народа», которым «было выгодно» философское невежество масс и с которыми предстоит ожесточенная борьба.

Еще дальше в своем философствовании по поводу перестройки идет старший лейтенант Берлизов. Выступление своего оппонента в «Огоньке» он считает не больше, не меньше, как «замаскированной формой растления молодого читателя». И взгляды таких людей — это уже «не компетенция педагогов, а органов государственной безопасности».

«Считаю своим долгом заявить, — пишет он, — что под видом «борьбы за перестройку» в нашей стране творится опасное антигосударственное дело, заключающееся в про-

поведи полнейшего нигилизма в отношении к героическому прошлому советской страны». Самое интересное, что Берлизов ссылается все на те же «исторические решения» XXVI съезда партии о перестройке, но, по его мнению, «истерия ниспровержений» никакого отношения к этим решениям не имеет.

О чем, однако, это все говорит? Еще не так давно мы на каждом шагу слышали о морально-политическом единстве советского народа. Именно оно, это морально-политическое единство, объявлялось главной движущей силой советского общества. Похоже, сегодня от указанного единства уже мало что осталось. Даже при чтении одного номера «Огонька» мы видим, как глубоко отличны (а иногда и просто противоположны) взгляды людей на прошлое. И еще более на события сегодняшнего дня. Вокруг этих событий и скрестили шпаги представители разных кругов и взглядов. Благо, сегодня людям есть, где дискутировать: по всей стране создаются разного рода неформальные объединения, кружки, дискуссионные клубы.

В нормальной демократической стране подобная ситуация могла бы привести к обострению политической борьбы, к правительственному кризису и приходу к власти новых политических сил. В СССР ничего подобного мы не видим. К тому же, в своем большинстве массы остаются вообще индифферентными к горбачевской перестройке. Может быть, ему лично в его благих намерениях они и сочувствуют, но не более того. И никакой активности для выполнения его планов не проявляют, да, по-видимому, и не очень-то верят в их реальность.

Похоже, что расслоение советского общества пока что единственный результат политики гласности, которая никак не сказалась на реальном положении страны. Поэтому официальные заявления о том, что советский народ объединился под знаменем перестройки, предстают перед нами как очередной пропагандистский лозунг, а сама перестройка выглядит скорее не как реальное обновление обще-

ства, а как разговоры о его возможном обновлении, как своего рода метафора определенной ситуации, возникшей в стране.

Я бы даже сказал, как поэтическая метафора, ибо с перестройкой связываются бесконечно внедряемые сверху мечтания о светлой жизни, признаков которой пока что не наблюдается.

На протяжении советской истории трудящиеся уже не раз объединялись под знаменами партии — под знаменем подъема сельского хозяйства, подъема промышленности, под знаменем соревнования за коммунистический труд. С первых дней Октября они сплотились под великим знаменем Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.

Специфика сегодняшнего момента в том, что впервые в советской истории поднятое партией знамя привело не к объединению, а к расколу общества.

Разумеется, не просто ответить на вопрос: отчего одни граждане хотят видеть свою страну, похожей на западное демократическое общество, а другие исполнены ностальгии по ушедшим сталинским временам. Некоторые из западных социологов, правда, пытаются определить, какие круги поддерживают Горбачева, а какие составляют его оппозицию. Они утверждают, что Горбачева поддерживает интеллигенция, технократы, высокопрофессиональные рабочие. Можно с этим соглашаться, можно против этого возражать. Это самостоятельный вопрос, который способен слишком далеко увести нас от темы. Однако из многочисленных публикаций в печати видно, что линия раздела проходит всюду — в школах, в театрах, на предприятиях, в молодежных объединениях. Она идет сверху донизу — от Политбюро и высшего генералитета до журналов «Новый мир» и «Молодая гвардия», от Союзов писателей и кинематографистов до разных дискуссионных клубов и объединений, которые, как грибы после дождя, расплодились в эти дни в стране.

Могут спросить: а нет ли тут противоречия — с одной стороны, как будто бы пассивность масс, а с другой, столь

непривычное для СССР брожение умов. Противоречия нет, а есть типичная российская ситуация, когда все говорят, но мало делают, чтобы претворить разговоры в жизнь. Эту проснувшуюся в людях жажду высказаться не трудно понять — слишком долго царил жесточайший контроль над любым проявлением свободной мысли. Дает себя знать обжигающая сила самих слов «свобода» и «гласность». И то, что мы видим в журнале «Огонек», в «Литературке», «Комсомолке», «Московских новостях», — все это выплеснувшееся из берегов море читательских мнений, писем, протестов — не есть ли все это результат и по сей день утоленной жажды свободного слова?

Возникает и другой вопрос: а где границы этой свободы? Ведь и в самом СССР не очень-то верят в ее незыблемость. «Вот уж, говорят, КГБ проснется и наведет порядок!» Рассказывают, будто гебисты открыто, на улицах грозят: «Де, мол, дождитесь только мая, там уж мы вам покажем!»

Естественно, что в обществе с однопартийной системой, лишенном плюрализма мнений, когда ни одно из нововведений не закреплено законом, — в таком обществе все может в одночасье и кончиться; как началось, так и завершится — по воле очередного правителя. И все же, думаю, что пределы свободы не в том, что в мае или июне возьмут и отменят гласность (хотя, повторяю, и это нельзя исключить), но в том, что «объявленная партией демократизация», оказавшись в противоречии с системой, сама по себе может утратить смысл.

Когда на страницах вчера еще безликого «Огонька» люди читают, что в деревне царит очковтирательство и показуха (перечитайте письмо того же киевлянина Любакова: голод царил в г. Жашково Черниговской области, а приехал партийный босс и по мановению волшебной палочки все переменялось), или письмо жителя Тюмени Токарева (с цифрами в руках показывающего, какое в стране царит социальное неравенство), или грустные мысли Бориса Любимова

о мытарствовании советских актеров, или выкладки Тамары Афанасьевой о трагедии советской семьи, — так вот, когда все это читаешь, не трудно представить, как захватывает у людей дух от всей этой пронзительной и печальной правды. Такого они еще не видели в советской печати!

Но идет время, и ничего не меняется: все та же нехватка продуктов, те же очереди в магазинах, то же социальное неравенство — и пусть «Огонек» с ничуть не меньшей яростью долбаёт бюрократизм, пусть читателям дается право писать обо всем, что хотят, и пусть не смолкает полемика о судьбах страны и скрещивают шпаги в острых схватках люди — все это пока слова и только слова. Без коренных социально-экономических реформ перестройка останется все той же метафорой, все той же суммой словесных баталий, все тем же Гайд-парком при социализме, когда дозволено говорить, что угодно, но это ничуть не меняет положения в стране. Такова ситуация на сегодняшний день. И смелые выступления журнала «Огонек» пока не вселяют особого оптимизма. Но был бы неверен вывод, что перемены в СССР вообще лишены смысла. Любая свобода, даже в ограниченных масштабах, даже в условиях тоталитарного режима — это все-таки свобода. Независимо от своего прагматического влияния на систему, она — самоценность сама по себе.

Если же обратимся к конкретным условиям СССР, то ведь брожение умов — это вообще необычная для него ситуация. И если сегодня в сути системы мало что изменилось, то мы не знаем, что будет завтра. В условиях гигантской, неуправляемой России отнюдь не все зависит от воли правителей, хотя еще со сталинских времен им кажется, что они всевластные хозяева ее судьбы. Но, если бы это было так, сталинизм был бы незыблем, и даже малая, ограниченная свобода, наступившая в СССР, оставалась бы и по сей день бесплодной мечтой.



*Владимир ШЛЯПЕНТОХ*

## **ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ**

*СТАЛИНСКИЕ ЧИСТКИ И КАТАСТРОФА ЕВРОПЕЙСКОГО  
ЕВРЕЙСТВА: ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЯ*

Странно, что до сих пор почти никто по сути не сравнивал эти два трагических события. Пожалуй, только Василий Гроссман в своей великой книге «Жизнь и судьба» вплотную подошел к этой теме и высказал ряд чрезвычайно глубоких мыслей. В этих заметках я сделаю попытку рассмотреть некоторые общие черты двух трагедий.

Обстоятельства военного поражения Гитлера позволили достаточно точно оценить масштабы Катастрофы. Настоящие границы Большого террора в Советском Союзе установить гораздо труднее. Прежде всего потому, что террор включал две разнородные группы событий: насильственную коллективизацию сельского хозяйства (включая ссылку и голодную смерть огромного числа советских крестьян)

и великую чистку, направленную Сталиным главным образом против членов партии и правительства.

Оценки количества погибших во время коллективизации и чисток 30-х годов сильно отличаются друг от друга: от многих миллионов до гораздо более скромных цифр. Однако каким бы ни было число арестованных и высланных в 30-е годы, советские люди восприняли события этого периода как охвативший страну массовый террор. Эти чувства разделяли практически все группы населения, от крестьян до членов правительства.

Послевоенные опросы так называемых перемещенных лиц, позволили получить по крайней мере приблизительную оценку масштабов террора. Вряд ли, конечно, эти люди составляли представительную выборку довоенного советского населения. Однако тот факт, что 80 процентов из них сообщили, что они сами или члены их семей были арестованы по меньшей мере один раз, говорит о многом. Этот факт приобретает еще большее значение, если мы учтем, что более 60 процентов интервьюируемых покинули территорию Советского Союза не по своей воле, а были насильно вывезены в Германию.

Даже сейчас, спустя 50 лет, можно еще увидеть, как советские люди представляли себе размах террора. В редких случаях это прослеживается в официальных советских публикациях, например, в воспоминаниях Веры Пановой. Но особенно яркую картину рисует роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

Кроме большого числа жертв, есть и другие параллели между Катастрофой и Большим террором. Наиболее фундаментальная из них — варварское преследование абсолютно невинных людей. Они не нарушили даже жестоких законов сталинской и гитлеровской империй. Однако, с точки зрения их переживаний, есть большая разница между этими двумя событиями.

Объективно говоря, судьба европейских евреев во время

Катастрофы была гораздо более ужасна (в процентном отношении), чем судьба советского народа. С точки зрения же субъективной, многие советские люди в ГУЛАГе чувствовали гораздо большую горечь. Всю свою жизнь они были верными бойцами партии и Сталина и теперь погибали от руки тех, кого считали своими товарищами. Каковы бы ни были страдания евреев в гитлеровских лагерях, они никогда не считали своих убийц друзьями и благодетелями.

Наверное, крестьяне, вытесненные из своих домов на Украине и в Белоруссии и сосланные в Сибирь умирать со своими семьями, были ближе всего к европейским евреям в их ненависти к своим мучителям и страхе перед ними. Десять лет спустя в их деревнях перед глазами этих же крестьян происходило истребление евреев. В обоих случаях жертвы до самого конца не понимали причин своей трагедии.

Одна из наиболее важных черт Катастрофы и Большого террора заключается в том, что они были начаты единовластным главой государства. При рассмотрении общей картины Катастрофы и Большого террора (Китайская культурная революция тоже может быть отнесена к этому феномену) становится ясной необычная роль верховного вождя. Более того, нельзя не обратить внимания на взаимовлияние Сталина и Гитлера (а также влияние Сталина на Мао).

Нам неизвестны никакие группы населения или социальные институты, которые были бы способны изменить намерения вождя под страхом каких-либо последствий. Что касается советского случая, то даже официальная «История Коммунистической партии Советского Союза» признает, что Сталин начал коллективизацию без одобрения партийных органов.

Начатые по приказу вождя массовые высылки, убийства и аресты могли быть остановлены им в любой момент. И действительно, Сталин несколько раз менял масштабы и темпы террора. Он замедлил коллективизацию в 1930 году и великую чистку в январе 1938 года.

После январского Пленума ЦК 1938 г. группа людей была выпущена из тюрем и лагерей, включая несколько человек, впоследствии ставших известными. В тот же период времени Сталин слегка смягчил судьбу членов семей арестованных, запретив поголовно выгонять их с работы.

В своей книге «Смоленск при Советской власти» Мерле Файнсод цитирует протоколы собрания партийной ячейки НКВД Смоленского района.

Они показывают, как политическая полиция мгновенно изменила характер своей деятельности, приведя ее в соответствие с директивами из Москвы, требующими смягчения террора. В отличие от Сталина, Гитлер никогда не менял масштабов Катастрофы, ее интенсивность, за редким исключением, нарастала от месяца к месяцу.

Другой общей чертой было нежелание обоих вождей формально включиться в осуществление террора: ни тот, ни другой не хотели подписывать никаких документов, одобряющих политику массовых репрессий. «Окончательное решение» было, по всей видимости, принято на специальном совещании, которое не стенографировалось. По крайней мере, протокол подобного совещания не известен.

Хрущев не мог назвать ни в одном из своих докладов, посвященных Сталину, ни одного документа, который бы формально установил соучастие Сталина в убийствах ведущих партийных деятелей, представителей интеллигенции и генералитета.

Ключевая роль вождя в организации террора не исключает, конечно, и того, что и среди населения были группы, которым оказались на руку эти «предприятия». В обоих случаях имущество, особенно дома и квартиры репрессированных — евреев, кулаков и «врагов народа» с жадностью растаскивались толпой, «низами» общества. В случае Большого террора трофеи доставались НКВД.

Массовые чистки открыли дорогу к продвижению для тысяч и тысяч людей. Только с приходом к власти Горбачева эти выдвиненцы эпохи чисток вынуждены были покинуть политическую сцену в Москве.

Среди тех, кому удалось извлечь выгоду из террора, были и лица, которые добровольно брались за дела, необходимые для проведения политической линии вождя. В любом обществе легко найти неудачников и завистников, садистов, злых и завистливых людей, желающих свести старые счеы.

Во времена Катастрофы нацисты всегда могли рассчитывать на добровольцев, готовых принять участие в преследованиях и истреблении евреев (не говоря уже об огромном количестве людей, попросту доносивших на скрывавшихся евреев).

В пору коллективизации и массовых чисток поддержка среди населения была еще более широка. Возможно, тут сыграла свою роль лицемерная идеология Сталина, которая помогала находить более гуманное объяснение своим поступкам.

Несомненно, благодаря тому, что Большой террор и Культурная революция были главным образом направлены против более зажиточных слоев общества, они приветствовались многими представителями рабочего класса, которые всегда ненавидели своих начальников и интеллигенцию и завидовали их образу жизни.

«Классовый элемент», конечно, присутствовал и во враждебном отношении местного населения к евреям Европы. Во многих случаях евреи были богаче, чем главная этническая группа, и этот факт широко использовался нацистами. Этот же метод используется сейчас некоторыми советскими идеологами, которые под предлогом борьбы с сионизмом, пытаются представить погромы как проявление классовой борьбы.

По всем данным, миллионы советских людей приняли добровольное участие в массовых чистках, снабжая политическую полицию материалами ареста тех, против кого они были настроены.

Коллективизация сельского хозяйства проходила с активным участием деревенских подонков: людей, которые

не хотели работать и которых презирала вся деревня.

В 60-е годы власти разрешили писателям рассказать часть правды о коллективизации. Сергей Залыгин, Василий Белов и позже Василий Быков начали рисовать более объективный портрет «сельского активиста», помогавшего политической полиции сослать в Сибирь миллионы хороших, трудовых крестьян.

Однако среди всех, кто нажился на массовых гонениях или добровольно вступил в аппарат истребления, не было таких, кто мог бы заставить вождя пощадить кого-нибудь из жертв террора. Этот факт кажется мне радикальным для понимания механизма массового истребления. Полный контроль диктатора над ходом репрессий наводит на мысль, что тоталитарная машина, однажды построенная, практически не может ограничить людей, владеющих рычагами власти. С такой машиной верховный лидер может преследовать свои собственные политические интересы, принося в жертву наиболее важные интересы нации, как это было в случае Сталина и Мао.

Конечно, в силу некоторых общих исторических условий, существовали границы, за пределы которых даже эти вожди не могли выйти. Например, Сталин должен был учитывать официальную идеологию и к ней подлаживаться. И все же свобода действий каждого из этих лидеров была громадной.

Интересно, что дебаты внутри советской интеллигенции о социальной базе террора не привели ни к каким интересным выводам. Теория, что политика массовых репрессий принесла Сталину поддержку партийного аппарата и политической полиции, может быть легко опровергнута, хотя бы потому, что эти организации во время террора пострадали больше других.

Из хрущевских мемуаров известно, как ближайшие сталинские подручные тряслись от страха при малейших сталинских капризах. В Москве существовала даже экзотическая теория, что террор был изобретен крестьянином,

который после революции приехал в город с решимостью выгнать с высоких должностей старых большевиков и горожан. Нелепый характер подобных теорий очевиден. Традиционный подход марксистов и западных левых, утверждающих, что политическая власть всегда представляет интересы каких-то классов, не применим ни к одному из этих ужасных событий. Несмотря на то, что Сталину и Гитлеру было нетрудно найти поддержку среди населения, им самим и их подручным — Гиммлеру, Эйхману, Ягоде, Ежову, Берии и др. было легче насильственными методами приводить в действие аппарат террора. Три главных момента присутствовали в обоих случаях: необходимость повиновения приказам, надежда на продвижение, идеология, оправдывающая даже самые отвратительные акции.

Первые два фактора — тривиальны. С появлением официальной организации всегда наличествовал избыток людей, готовых совершить любое зверство по приказу свыше. Более важным, однако, является характер соответствующих идеологий.

В своем романе «Жизнь и судьба» Василий Гроссман описал глубокую общую суть идеологии Сталина и Гитлера. В основе своей обе они основаны на идеологии «исключения», или негативной идентификации.

Такие социальные чувства, как симпатия, солидарность, сострадание, альтруизм, основаны на идентификации или расположенности рассматривать других, как себя. Как заметил Гроссман, гитлеризм и сталинизм объявили некоторые группы населения «нечеловеческими» и потому исключили их из ряда общей идентификации.

Нацистская идеология предложила немцам не идентифицировать себя с другими этническими группами, особенно с евреями. Сталинская версия марксистской идеологии предполагала, что советские люди не должны себя идентифицировать с классом капиталистов и с их «приспешниками» врагами народа. Вопрос о том, какая идеология,

основанная на расовой или классовой ненависти, исключила больше людей, открыт для дискуссии.

В обоих случаях те, кто выполнял акты массового разрушения, были убеждены, что они не могут оказаться на месте своих жертв. Однако, здесь есть большая разница между Катастрофой и Большим террором. Будучи основанной на этническом принципе, идеология Гитлера гарантировала любому эсэсовцу, любому немцу и многим людям других национальностей, что они никогда не разделят судьбу евреев — просто потому, что они не евреи и никогда не будут евреями.

Иной была ситуация при сталинском терроре. Во время Гражданской войны и первой послевоенной декады члены партии и комсомола (как и все, кто имел «хорошее» социальное происхождение) могли взирать на граждан, преследуемых советским режимом, с той же точки зрения, что эсэсовцы взирали на евреев: они никогда не окажутся на их месте. Даже коллективизация не могла пошатнуть уверенности партийных работников и новой интеллигенции в своей исключительности. Этот факт объясняет абсолютное равнодушие многих советских интеллигентов (не говоря уже об аппаратчиках) к судьбе русских крестьян.

Чистки тридцатых годов коренным образом изменили ситуацию. Теперь репрессии были направлены главным образом против членов партии. Вначале казалось, что такие «объективные факторы», как социальное происхождение или старые политические связи (например, с троцкистами или меньшевиками), отделяли «волков в овечьей шкуре» от «овец». Однако вскоре, когда стало ясно, что это были не единственные критерии, чувство исключительности стало пропадать и у членов партии. Те, кто был сталинским палачом в тридцатые годы, должны были искусственно раздуть свою исключительность. Это делает понятными случаи сострадания и даже помощи жертвам террора со стороны работников советского аппарата в 30-е годы, случаи, неизвестные среди СС и сотрудничавших с ними гитлеровских организаций.

С этой точки зрения, судьба евреев, которые должны были принимать участие в истреблении своего народа в концлагерях, была ужасна. Они полностью идентифицировали себя с жертвами гитлеровцев.

Отношения жертв к вероятности ареста и смерти были тоже очень похожи во время Катастрофы и Большого террора. Подавляющее большинство евреев, привезенных в лагерь смерти, не знали и не хотели верить в то, что они были близки к концу своей жизни.

Хорошо информированные о массовом терроре советские жертвы вели себя так же, как и жертвы Катастрофы. Большинство крестьян до последнего момента не верили в катастрофу, которая выпала на их долю. Точно также советские аппаратчики отказывались верить в свое предстоящее мученичество, даже накануне своего ареста. Во время чисток вероятность ареста была особенно высока для советских дипломатов и резидентов на Западе. Однако почти все дипломаты и агенты, отозванные в Москву, зная о многочисленных арестах друзей и коллег, надеялись, что их пощадят.

Более того, как писали Евгения Гинзбург в своих мемуарах и Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», многие арестованные продолжали думать, что они были задержаны по ошибке. Остальные узники камеры, наверное, настоящие шпионы и вредители, думали эти люди, но он или она, абсолютно лояльные советские граждане, будут выпущены на следующее утро.

Недостаток опыта и неспособность идентифицировать себя с судьбой других, наверное, и служат объяснением тому, почему жертвы насилия не оказывали сопротивления. Армянский геноцид не послужил предостережением европейскому еврейству. Многие китайцы не усмотрели ничего общего между Культурной революцией и сталинским террором. Как ни пассивны были жертвы Катастрофы, жертвы сталинских чисток и Культурной революции сопротивлялись еще меньше.

Между Катастрофой и Большим террором есть какая-то разница и в том, как реагировало непреследуемое население. В первом случае его большая часть, зная о планах истребления евреев, оставалась равнодушной. Если же говорить о советских людях, то они были единодушны в океане масштабов террора, но среди них существовали сильные разногласия по поводу причин репрессий.

Во-первых, были «верующие» — те, кто принял официальную версию. Для них все высланные крестьяне были кулаками, все арестованные — шпионы и вредители или члены организаций, замышлявших что-то против системы.

«Верующих» можно разделить на три группы: члены партии (по крайней мере, не занимающие высоких постов), новая интеллигенция (с большим процентом евреев среди них), молодежь.

Три обстоятельства, наверное, привели к расположению верить официальной версии:

1. Орвелловский мотив — те, кто не верил, подвергали себя опасности. Только любя Большого Брата можно было пережить это время.

2. Желание притворяться ничего не знающим о зверствах, чтобы сохранить «чистую совесть» в процессе продвижения по карьерной лестнице за счет тех, кто был в ГУЛАГе.

3. Эмоциональные вложения в идею революции и справедливого общества.

Старые большевики особенно не хотели отказываться от веры в социализм как самую справедливую систему. Некоторые продолжали верить даже в ГУЛАГе.

Аппаратчики, которые более других были под угрозой сталинского террора, принимали официальную версию с гораздо большим жаром, чем беспартийные. Да и некоторые новые интеллигенты (многие из них члены партии) были близки к аппаратчикам в своей готовности проглотить официальную версию.

Арнольд Кольман соединил в себе в этот период роль партийного деятеля и интеллигента нового поколения. В

своих мемуарах он писал: «Когда арестовывали товарищей, которых я знал, мне никогда не приходило в голову, что эта волна могла дойти и до меня... Я объяснял каждый отдельный акт репрессий либо тем, что арестованный был действительно замешан в какой-то оппозиционной деятельности... или тем фактом, что ГПУ (политическая полиция) сделала ошибку, которая вскоре будет исправлена».

Самыми отважными были те, кто, не бросая никакой тени на Сталина или советскую систему, отказывался признать законность арестов. Некоторые даже предполагали (тоже, однако, в сталинских терминах), что вредители захватили контроль в некоторых местных органах или даже во всем НКВД, вопреки воле Сталина. Но, конечно, среди молодых людей, особенно в городах, можно было найти самых верных и последовательных «верующих». Более того, чем моложе был человек, тем более он был убежден, что арестовывают только врагов народа.

Офицер советской разведки, предчувствуя близкий арест, спросил своего десятилетнего сына: «Послушай, Толя, если бы тебе кто-нибудь сказал, что твой папа — враг народа, что бы ты сделал?» Ответ: «Я бы убил его своими руками».

Александр Орлов, генерал НКВД, перебежавший на Запад до войны, описывал отношение в школе к детям врагов народа: «Их ровесники мучили и били их как детей предателей и шпионов. Часто бывало, что школьники, которые сегодня принимали участие в издевательствах, завтра сами становились «детьми врагов народа».

В 1939-40 году Лидия Чуковская написала практически документальный роман «Покинутый дом» (ее муж был в это время арестован). В этом романе она воспроизвела атмосферу в Ленинграде того времени и показала, что большое количество людей верило или притворялось, что верит в официальную версию массовых арестов.

Аркадий Львов описал такую же реакцию среди жителей Одессы в своем романе 1979 года «Двор».



Тот факт, что многие миллионы советских людей оплакивали смерть Сталина, — это еще один индикатор их веры в официальное объяснение массового террора.

Наверное, единственной группой, которая могла сохранить трезвую оценку великой чистки, была старая интеллигенция, сформировавшаяся до революции, — она не была заражена официальной демагогией. Осип Мандельштам, чье известное стихотворение о Сталине стоило ему жизни, и Анна Ахматова, чей «Реквием» воспроизвел атмосферу террора, являются примерами, подтверждающими этот тезис.

При всем этом, урок, который может быть извлечен из Катастрофы и Большого террора, очень прост. Любая система, позволяющая одному человеку контролировать политическую машину, чрезвычайно опасна.

Но нужно ли и дальше привлекать внимание к трагедиям, произошедшим с советскими людьми, китайцами и европейскими евреями? С точки зрения историка, ответ ясен. Конечно, да. Эти трагедии являются самыми главными событиями современной истории. Но каков же ответ с точки зрения политической и гуманистической?

Когда я побывал в Освенциме в 1965 году, первая мысль, которая пришла мне в голову, была: «Зачем сохранять этот памятник варварства? Не является ли это посланием Гитлера будущим поколениям, что такой ужас возможен?»

Горбачев круто изменил официальное отношение к освещению истории сталинского террора. После почти двадцатипятилетнего перерыва советские люди вновь начинают соприкасаться с трагедией их страны в 30-е годы.

Мы еще, однако, не знаем, как эта информация повлияет на психологию советских людей. Ведь и сегодня в стране нет институтов, способных защитить граждан от ярости государства. В этих условиях многие люди, узнав о том, что такое массовый террор, придут к выводу, что пассивность и конформизм — наиболее разумное поведение в недемократическом государстве.

*Елена ГЕССЕН*

## **БИТВЫ «НАШЕГО СОВРЕМЕННОКА»**

*«Наш современник» дал 79 лауреатов и ни одного перебежчика, ни одного диссидента»  
(Сергей Викулов, главный редактор  
журнала «Наш современник».)*

Любитель изящной словесности вряд ли станет регулярно читать журнал «Наш современник», разве что лениво пролистает при случае. Интересная проза появляется там крайне редко, зато случается проза сенсационная.

Лет десять назад, когда там печатался роман Валентина Пикуля «У последней черты», журнал на несколько месяцев стал «бестселлером», а в Москве даже появился анекдот: на человека напали грабители — но ни часов, ни бумажника не взяли, а отобрали портфель, в котором лежал «Наш современник» с романом Пикуля.

Сенсацию скандального свойства вызвал и рассказ Астафьева «Ловля пескарей в Грузии» (1986, №5). Грузинские писатели, усмотревшие в рассказе поклеп на соотечествен-

ников, в знак протеста дружно покинули писательский съезд. Этот же рассказ породил нашумевшую переписку между историком Натаном Эйдельманом и Астафьевым.\*

Заметим, впрочем, что все эти реакции и отголоски связаны не столько с литературными достоинствами данных произведений, сколько с их общественно-социальной направленностью. Но ведь и это интересно. Как писал Пушкин: «Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию: и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных». Именно с этой точки зрения, пожалуй, и стоит поговорить о содержании журнала за минувший год.

Официально «Наш современник» именуется органом Союза писателей РСФСР. Неофициально общеизвестно, что он предоставляет трибуну сторонникам так называемой «русской партии» — рупором которой является общество «Память» — и группируются вокруг журнала по преимуществу писатели почвеннического направления, «деревенщички», среди которых есть имена замечательные. Однако в этом году, даже на обычном бледноватом фоне, прозаический отдел «Нашего современника» выглядел убого. Из номера в номер шли унылые сочинения о перестройке на селе, где принимал дела новый секретарь райкома, закатывали роскошные пиры заматеревшие на колхозных хлебах бюрократы и сельская аристократия, меж тем как простой труженик пытался бороться за справедливость, доказывая в этой борьбе свое превосходство не только над сельскими властями, но заодно и над интеллигенцией. И все это — а ля Бабаевский: монотонно, серо, убогим, скрипучим, якобы деревенским, а на самом деле — никаким языком. На третьей странице скулы сводит от скуки, на четвертой — закрываешь журнал.

Заметим, кстати, что роман Бориса Можая о коллективизации «Бабы и мужики», одна из самых ярких публикаций

минувшего года, появился не на страницах «Нашего современника», а в периферийном журнале «Дон».

Даже в рубрике «Из литературного наследия» журнал остается верен себе, печатая проходные рассказы Федора Абрамова и Александра Яшина. Эйфория открывательства, охватившая едва ли не все советские журналы, не коснулась «Нашего современника» вовсе, — что, кстати, не удивительно: именно литераторы этой ориентации навесили на процесс возрождения забытых и запрещенных имен ярлык «некрофильства». И если, например, на страницах журнала все же вдруг появляется Набоков, то лишь в очерках литературоведа А.Овчаренко о поездке в Америку: профессор Йельского университета — «поглаживая изящные черные усики» — предлагает автору провести симпозиум, посвященный прозе Набокова. «Набокова? Почему именно Набокова?» — удивляется А.Овчаренко. — «А кого из писателей двадцатого столетия можно поставить рядом с ним?» — поясняет американец. «Рядом — некого, — парирует советский ученый, — а вот выше — можно, например, Шолохова, Леонова или Фолкнера, Роберта Пен Уоррена...»

## ВО ВРАЖЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ

Зато, когда дело доходит до публицистики, терпеливого читателя ждут радостные открытия. Начать с того, что публицистический раздел журнала отличается невероятной актуальностью и полемическим задором, граничащим порой с открытой агрессивностью. Публицисты «Нашего современника» не просто статьи пишут — они с поднятым забралом бросаются под танки, на амбразуры, «на линию огня». В кавычки забрана цитата из стихотворения Виктора Коротяева. Не то чтобы, я поклонница его стихов; я и услышала об этом поэте только из выступления главы общества «Память» фотожурналиста Д.Васильева\*, продекла-

\* См. «Время и мы», №93.

\* См. «Континент», №50.

мировавшего эпохальное произведение Коротаяева целиком. Почему Васильеву полюбили эти стихи — понятно: автор объявляет в них борьбу против внутренних врагов, направивших дула орудий на русский народ. «Это кто нас там «российским быдлом» тихо, но старательно назвал?» — грозно вопрошает поэт и предупреждает противников: «Я давно не жду от вас пощады, но и вы не ждите от меня». Между тем, в душе он человек мирный, простой, к воинственным действиям вовсе не склонный, но что же делать, если вокруг — враги? Вот он и сетует: «Так пожить хотелось без баталий, да не получается никак».

Я потому так задержалась на этом хотя и ничтожном, но в своем роде замечательном творении, что его постулаты, похоже, легли в основу публицистической деятельности «Нашего современника». Журнал борется, не покладая рук и не жалея боеприпасов.

Вот, например, Элида Дубровина в статье «Не отгорят рябиновые кисти» вскрывает заговор против Есенина: до петли поэта довели, оказывается, Асеев, Крученых и Бухарин; в наши дни Вознесенский протаскивает в печать апологию Крученых, подкрепляя ее «ссылкой — на кого, как вы думаете? На Асеева». Ну как пить дать — заговор! Но что Вознесенский в сравнении с ленинградским критиком Абрамом Амстердамом? Тот ведь что сделал: в обзоре первых поэтических сборников за 1970 год упомянул книжку Л.Дербиной — которая за год до появления этой злонамеренной публикации убила своего любовника, вологодского поэта Николая Рубцова. Разве не ясно, что и тут — заговор, в котором участвует вся ленинградская секция поэзии, не позволившая провести вечер памяти Рубцова, зато разрешившая публикацию Абрама Амстердама.

Но на Рубцове «внутренние враги» не останавливаются, они — страшно сказать! — на самого Пушкина замахнулись. Физик В.Фридкин напечатал в журнале «Наука и жизнь» очерк о доме Дантеса в Сульцах, об его могиле и его потомках, а предисловие к очерку написал Натан Эйдельман.

Картина совершенно ясна. Как замечает автор статьи, тут пахнет «этическим релятивизмом».

Не менее страшное явление описывает свердловский журналист Б.Пинаев, побывавший в Свердловском оперном театре на спектакле «Сказка о царе Салтане...». Автор либретто В. Вельский, узнаем мы, ввел в спектакль «некое русское царство Тмутаракань»: как замечает автор, слово это «для человека, плохо знакомого с нашей историей, звучит сегодня как «Тьма Тараканья», то есть нечто темное, какая-то неприбранная, заплеванная изба, где ползают противные тараканы». И тут же поясняет: «Собственно, таким и показывает русское княжество режиссер-постановщик А.Титель». Вообще Титель, судя по всему, расстался: у царя Салтана два трона, на одном из которых — знамя со свастикой, тридцать три богатыря — никакие не богатыри, а «толпа худеньких мальчиков дошкольного возраста», а царство царевны Лебедь «осенено... звездой Давида» и здесь «все расчудесно: цветочки, птички, камзолчики» (меж тем как у Салтана все ходят в «заплатанной мешковине»).

Ту же «глумливую атмосферу» отмечает Б.Пинаев в декорациях оперы «Борис Годунов», исполненных тем же Тителем на пару с художником Э.Гейдебрехтом: «мрачная пещера — обиталище русского народа — противопоставлена благоуханному саду — Польше, враждебной в то время России». В сопроводительной заметке «От редакции» говорится, что письмо Пинаева — лишь одно из потока писем о «режиссерских ухищрениях, экспериментах» и многие из этих писем, «как видно по их тональности, продиктованы отчаянием». Читателю предлагается и дальше принять участие в разговоре на эту тему.

#### «БРИШЕВЩИНА»

Вообще, читатели, по известному анекдоту о чукче, теперь все чаще превращаются в писателей. Публикация чи-

тательских писем в советских журналах и газетах оживилась чрезвычайно, и среди них попадаются невероятно интересные — особенно содержательны подборки «Огонька». О чем только ни узнаешь из этих писем — и о трудной доле многодетной матери, и о беспросветно тягостном положении рабочей-лимитчицы, и о жутких житейских историях, изобилующих массой выразительнейших бытовых деталей. Для советолога, политолога, социолога — непочатый край богатейшего материала, только черпай.

«Наш современник», шагая в ногу со временем, тоже решил напечатать подборку писем читателей романа Белова «Все впереди».\*

Роман этот, как справедливо отмечается в редакционном предисловии к подборке писем, «вызвал много споров». Резко критически отозвались о нем известный критик Владимир Лакшин и критик меньшего масштаба Ольга Кучкина; было и немало положительных отзывов, в которых Белова приравнивали к Достоевскому, а противников романа объявляли — скопом — врагами русского народа.

«Наш современник», в редколлегию которого входит В.Белов, естественно, принадлежит к категории горячих поклонников его произведений. Но справедливости ради письма напечатаны отнюдь не только хвалебные: из одиннадцати авторов трое считают роман «не выдерживающим никакой критики». Правда, их отзывы кратки, маловыразительны, риторичны и неубедительны, а один так и вообще отдает несколько идиотичным прекраснородушием: 38-летний инженер Гофман из Днепропетровска «убедительно» просит разъяснить ему — почему Михаил Бриш кричит Иванову: «Не суй мне в морду эту войну!» (Речь идет о довольно безобразном и откровенном эпизоде: положительный герой нарколог Иванов, который все время борется с различными социальными язвами, в застольной беседе с

отрицательным героем, евреем Бришем, олицетворяющим все эти язвы, предлагает тост «за русскую удаль», благодаря которой была одержана победа в Отечественной войне.) «Разве победу в нашей Великой Отечественной войне наша многонациональная страна одержала только благодаря русской удали? — удивляется товарищ Гофман. — Оба героя романа родились после войны. В чем видит автор вину Бриша перед Ивановым? Во-вторых, почему дети Медведева окажутся в «каком-нибудь» Арканзасе? В каком Арканзасе? В США? Почему?»

Право, так и хочется сказать автору такого письма, как шварцеской принцессе: ах, принцесса, вы так наивны, что можете сказать ужасные вещи! Можно подумать, что товарищ Гофман не знаком с теорией насчет того, что «евреи не воевали, все оставались живы», которую и воспроизводит на страницах беловского романа нарколог Иванов. Или неужели Гофману неизвестно об эмиграции «некоторой части нашего населения», «граждан еврейской национальности», как изящно выражаются советские газеты? И раз Бриш, усыновивший — или, по беловской терминологии, «присвоивший, укравший» — детей Медведева, таскается на Колпачный переулок, то это означает, что он собирается махнуть в эмиграцию. А вы — «в каком Арканзасе? Почему?» И где только такие наивные люди водятся? Ах да, в Днепропетровске...

Большинство читателей выражает восторг по поводу романа Белова, «отвечающего духовному требованию времени», называют автора «человеком, пробивающим в пургу лыжню», говорят об его «огромных писательских возможностях», о честности таланта, «высокой гражданской позиции», о любви к Москве — «другого чувства не может быть в сердце россиянина».

Особое внимание уделяется образу Бриша, которого авторы писем считают «ярким носителем социального зла». Бриш, пишет кандидат филологических наук В.Скоробогатов, «наделен качествами, традиционно нелюбимыми в на-

\* См. мою статью о романе Белова: «Таланты и тотемы», «Страна и мир» 1987, 2.

шем народе: беспринципностью, бесцеремностью, космополитизмом, отсутствием патриотизма». Лексикончик узнаете, читатель? И дальше: Бриш «по первому слову готов обвинить собеседника в антисемитизме, ведь хорошо известно, что такие беспардонные отвлекающие обвинения по любому поводу являются одним из основных постулатов международного сионизма». Вот ведь куда добрались!

Другой читатель, кандидат медицинских наук, обнаруживает в образе Бриша «особую форму зла», которую он, следуя лучшим традициям отечественного литературоведения, диагностирует как «бришевщина». Этой же опасной болезнью заражены, по его мнению, и критики, выступившие против романа — их он называет «эстетствующими защитниками старого».

Среди зараженных «бришевщиной» «эстетствующих защитников старого» оказалась и молодая писательница Татьяна Толстая. В интервью газете «Московские новости» ее угораздило назвать роман Белова «человеконенавистническим» — и что тут поднялось! Сначала ее обругал на писательском пленуме Петр Проскурин, потом обрушился Владимир Бушин в статье «С высоты своего кургана» («Наш современник», № 8), который предпослал статье эпиграф из Леонида Леонова: «Вполсилы пока работали гигантские, из мобилизационного резерва, генераторы озлобления». То есть следует понимать, что объект статьи — Татьяна Толстая — и является генератором озлобления. Однако по мере того, как читаешь Бушина, чувствуешь, что генератором озлобления скорее уж следовало назвать автора статьи. В самом деле, он не находит в Татьяне Толстой ни одной маломальски не то чтобы приятной, но хотя бы приемлемой черты, — все вызывает в нем раздражение. С одинаковой готовностью иронизирует он и над родословной Татьяны Толстой, внучки А.Н.Толстого и Михаила Лозинского, и над тем, что писать она стала поздно (слово «дебютантка» в устах Бушина звучит едва ли не ругательством) — и над манерой новеллистки выражаться, и над ее суждениями о ли-

тературе, и над ее работой в издательстве. Хорошо еще, что Т.Толстая не уродилась слепой и кривобокой, иначе и эти бы ее свойства попали под обстрел критика-гуманиста.

Особое возмущение Бушина вызывает высказывание Толстой относительно романа Белова — тут он просто извергает огнедышащую лаву.

«Ничего, подобного выходке Т.Толстой, мы никогда в нашей печати не встречали. В печати!» — многозначительно подчеркивает критик. Ага, соображаем мы, значит, будет еще что-то. И точно: Бушин переходит на новый объект — на «одного московского критика», пославшего в Сибирь «старому, калечному на войне писателю письмо, которое своими разнузданными обвинениями оскорбляло адресат и расчетливо провоцировало его на резкость. Расчет сбылся».

По-видимому, читатель уже догадался, что речь идет о переписке Эйдельмана с Астафьевым. Бушин подхватывает определение «эпистолярная гапоновщина», данное переписке критиком Ал. Михайловым в «Правде», 30.1.1987 (при этом сами письма напечатаны не были) и, естественно, вводит в число гапоновцев — читай, провокаторов — также и Т.Толстую. Что ж, все правильно, логично, «так будет со всяким, кто покусится...»

## БЕСПАМЯТСТВО И БЕССОВЕСТНОСТЬ

В 10-м номере журнал публикует статью одного из идеологов «Памяти» Вадима Кожинова «Мы меняемся?» (№ 10) с несколько кокетливым подзаголовком «Полемические заметки о культуре, жизни и «литдеятелях». Статья эта носит явно установочный характер. Маститый литературовед, как водится, начинает издали и упаковывает собственные высказывания в столь плотную оболочку из ленинских цитат, что до сути добраться удастся лишь на 9 странице. А суть оказывается очень проста: первая и главная мишень авторского гнева — журналистка Е.Лосото, автор статьи

«В беспамятстве» («Комсомольская правда»), где вервые в советской прессе было высказано довольно нелицеприятное мнение и об обществе «Память», и о статье Кожина в журнале «Москва», ставшей неким идеологическим манифестом общества.

Тут по ходу дела возникает своя и весьма любопытная тема: как оба автора в подтверждение своих мыслей размахивают цитатами из Ленина. Если Лосото ограничивается довольно известным определением советского патриотизма и бюрократизма, то Кожин раскапывает цитатки не столь затрепанные. Например, в качестве доказательства того, как тепло Ленин относился к «темному» русскому крестьянству, приводится ленинский рассказ о встрече с двумя людьми: «Один... издавший виды, или почти социал-демократ, брат-бундовец и т.д. Понатерся, но лично неинтересен, ибо обычен. Другой — воронежский крестьянин от земли... Черноземная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать». А рядом — воспоминания Горького, как Владимир Ильич, наблюдая за работой рыбаков на Капри, заявил, что «наши работают бойчее».

Лосото же, по мнению Кожина, извращая ленинские взгляды, повторяет воззрения — кого бы вы думали? — Троцкого! «Догадывается ли Лосото, чьи идеи высказывает она, взявшись «защищать» Ленина?» — грозно вопрошает Кожин. Бедная Лосото, хорошо еще, мы живем в эру гласности, это ведь уже прямым доносом попахивает.

Среди других «литдеятелей», которых учит уму-разуму В.Кожин, оказывается и Юрий Трифонов. В статье-мемуаре о Твардовском, написанной в 1973 году и полностью впервые опубликованной в «Огоньке» (№ 44, 1986) Трифонов якобы неуважительно отозвался о редколлегии «Нового мира», обвиняя ее в «почвенничестве». «Все это ползет от непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века... Необъятна эта система... И весь «Новый мир»... тоже крутится где-то в этой вселенной, ядром которой является нечто, называемое «почвой» или, скажем,

«родной землей», — цитирует Кожин. И это сказано о самом либерально-прогрессивном журнале 60-х годов!

Фокус, однако, в том, что Кожин обрубил цитате руки и ноги, оставив один остов, укладываемый в его концепцию. Если посмотреть в текст статьи Трифонова, то окажется, что речь идет совсем о другом. Трифонов, напечатанный в «Новом мире» свой первый роман «Студенты», затем много лет в журнале не печатался. Он дает свое объяснение этому многолетнему разрыву, рассуждая о неприемлемости чисто «социальной» мерки в отношении литературы, которую он сводит к вопросу: «Против чего направлено произведение?» — А ни против чего... В середине 60-х Трифонов предлагает журналу рассказ «Самый маленький город», написанный после смерти жены и интонацией, пронзительной грустью, недоговоренностью, напоминающей лучшие вещи Хемингуэя. Рассказ приняли, несмотря на замечания члена редколлегии Дороша, что он написан в западной манере. И дальше следует рассуждение Трифонова: «Мне непонятно высокомерие, с которым иные литераторы говорят о западной литературе, будто это литература — какой бы высокой и значительной она ни была — все же чем-то ниже отечественной, мол, там чтиво, а здесь — пища мозгам, там стиль, а здесь коряво, но правда. Все это ползет от непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века, не принесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей великим множеством приятнейших, душегрейных рассуждений: от гениального Достоевского до Шевцова».

Извиняясь за то, что ставит рядом имена несопрягаемые: великого писателя и графомана, Трифонов поясняет, что делает это, чтобы показать, как «необъятна эта система, как много в ней всякого рода, всяких масштабов орбит. Есть там и орбита Ефима Григорьевича Дороша, да и весь «Новый мир» — теперь пусть простят почитатели этого замечательного журнала — тоже крутится где-то в этой вселенной, ядром которой является нечто, называемое «почвой» или, скажем, «родной землей».

Трудно не заметить, что необрубленная цитата, вставленная в контекст и обретшая плоть, звучит совсем по-другому и наводит на совсем другие выводы и размышления, чем те, которые навязывает нам Кожин.

Вообще арсенал средств этого «литдеятеля» новизной и разнообразием приемов не отличается. Точно так же, как с Трифоновым, расправляется он с критиком Е.Стариковой, которая посмела выступить против «одного из крупнейших писателей современности — Виктора Астафьева». Заметим, кстати, что вовсе не против Астафьева она выступает, но против некоторых дурно пахнущих страниц его романа «Печальный детектив», но так Кожининову удобнее.

Герой «Печального детектива», как мы помним, получил высшее образование в педагогическом институте города Вейска, где, по словам автора, «маялся вместе с десятком местных еврейчат, сравнивая переводы Лермонтова с гениальными первоисточниками, то и дело натываясь на искомое, то есть на разночтения...»

Кожининов проделывает простую и эффектную операцию: убрав из цитаты первую часть — с еврейчатами — он обрушивается на Старикову за то, что она «квалифицирует эту деталь произведения (т.е. иронию автора в отношении сравнения переводов с подлинниками? — Е.Г.) как «доморощенный шовинизм дурного тона». В доказательство же правоты Астафьева Кожининов упоминает книгу «Гейне в России» Я.Гордона, у которого «не вызывают восторга» переводы Тютчева и который — в качестве примера перевода более близкого к оригиналу — приводит работу Сильман. Стоит ли говорить о том, какое возмущение вызывает это у Кожининова, защитника русской культуры от антипатриотов...

Впрочем, нас куда-то не туда заносит: «антипатриоты» — это ведь словечко из лексикона сорокалетней давности, помните, 1948-1949 годы, начало космополитической кампании, погромные разоблачения критиков-антипатриотов, поставивших якобы перед собой цель «подбить ноги пере-

довым советским драматургам». Эта цитата — не из Кожининова, а из статьи Симонова, напечатанной в «Новом мире», 1949, № 3. И эта — тоже оттуда: «Гурвич, за спиной людей, защищавших родину, молчаливо спасавшийся и бездельничающий где-то в эвакуации...»

А вот это уже — Кожининов, год 1987: «В 1943-1945 годах Е.Старикова... училась в Московском университете, а Ю.Трифонов — в Литературном институте; между тем их ровесник В.Астафьев в эти самые годы, обливаясь потом и кровью, шел, а чаще полз на Запад».

Кто следующий, граждане?

### «КРОВЬ И КРОВ»

Скажу прямо: мне не пришлось в творческих муках подыскивать название для этой подглавки, и все благодаря Олегу Алексееву, который именно так озаглавил подборку своих стихов (№5), по строчкам: «Кровь и кров — нашей жизни основа». Тут уж я, право, не знаю, что сказать: слышал ли поэт Алексеев о фашистской теории «Blut und Boden» или же он интуитивно, по глубокому внутреннему наитию, нашел столь яркий образ?

Боевым задором, готовностью дать противнику по зубам поэтическая рубрика «Нашего современника» не уступает публицистической. Прямо и честно заявляет об этом Владимир Карпеко в строчках, по ритмическому и интонационному строю поразительно напоминающих пушкинское «К Чаадаеву»: «Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена».

**Вы слышите трубы раскаты,  
стихи-дельцы, стихи-кастраты?  
Вступают вновь в свои права  
стихи-бойцы, стихи-солдаты;  
они засучат рукава  
и с вас, кокетливо-измятых,  
изломанных и нагловатых,  
сорвут крикливые слова!**

«Крикливые слова» поэты «Нашего современника» срывают с неугодных им критиков, (не понимающих, что «дурно пахнет от сложности мнимой, а высокая правда — проста»); с гастрوليрующих ансамблей рок-музыки, «порожденные нечистой силы»; с восхвалений прогресса.

Вячеслав Щетинников, ужасаясь проложенному вдоль калужской деревни шоссе, спрашивает: «Может, все это нужно, потому что прогресс. Или гнать бы их в шею? Нет, судить не берусь. Но люблю и жалею деревянную Русь».

«Дело надо вести на паях, а не танцы давить в мокасилах» — уверяет Владимир Костров.

«Как же так: деревня валит валом в город в магазин за молоком?» — справедливо негодует Николай Рачков.

Поборник теории «крови и крова» Олег Алексеев увещевает:

**Нужно русскому видеть себя.  
И порой я грядущего трушу,  
Ибо, память свою истребя,  
Мы разрушим народную душу  
.....  
Нужно русскому видеть себя,  
Понимая реальные цели.**

«Реальные цели», декларируемые поэтами «Нашего современника», сильно напоминают «реальные цели» общества «Память», порой представляя собой просто-напросто зарифмованные лозунги одного объединения или же мифы, которыми оно оперирует. Геннадий Серебряков, например, рассказывает о том, как

**В тридцать втором, а не во время оно  
Приладив и заряды, и запал,  
Надгробную плиту Багратиона  
Иуда новоявленный взрывал.**

**Уверенный в своей неправой силе,  
Из разрушенья сделав ремесло,  
Он мстил за что-то давнее России,  
Без суеты, расчетливо и зло.**

Чего же добивался этот инородец, этот Иуда, «в бессмертной славе русского грузина предвидевший помеху для себя»? Во-первых, он хотел, «чтоб взрыв ударил по народной боли, по вечной благодарности святой», а во-вторых — чтобы на русской земле выросли Иваны, не помнящие «ни славы, ни родства». Впрочем, поэт настроен оптимистично: «Но тщетны святотатства и угрозы, И память перед ними устоит. Поскольку крепче мрамора и бронзы, И перед ней бессилен динамит», — заверяет он нас.

Ольга Фокина ополчается против внутреннего врага — интеллигента, который «к экстрасенсам, к йогам прыгая... ищет новую религию», «помянув хлеба Отечества не добром». И живет он лишь ради себя самого, ни до кого нет ему дела:

**Без вины перед болящими —  
Сыном, матерью, отцом,  
Без ответа пред кормящими —  
Полям, пахарем, жнецом...**

И, наконец, все тот же плодовитый Геннадий Серебряков удостоил стихотворением и нас, грешных, «понявших права человека, как право отчизну менять». Называется сей опус «Бывшие»:

**Как будто и вправду не ведали  
Того, что творили тогда...  
На землю, которую предали,  
вернулись опять господа.  
Ну, как их зачислить  
В товарищи —  
Покинувших нашу страну?**

И ударный конец:

**Нам, родину свято любившим,  
Добра не увидеть во зле.  
Ведь бывший останется бывшим,  
К какой ни прибьется земле.**

Этим симпатичным приветом с родины мне и хотелось бы закончить обзор.



## ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА

ЗА 13 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 99

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б.Иошуа и многие другие.

Среди авторов журнала — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала "Время и мы" связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Огромной популярностью у читателей пользуется раздел "Из прошлого и настоящего", где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л.Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц. Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

**Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.**

**Для подписчиков — скидка 15 %**

**Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства "Время и мы".**

**Заказы и чеки высылайте по адресу:**

Time and We  
409 Highwood Avenue,  
Leonia, NJ 07605, USA.

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО \_\_\_\_\_



*В.ХОДАСЕВИЧ*

### ГОРЬКИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ \*

Год тому назад мною были публично прочитаны, а затем напечатаны в «Современных Записках» воспоминания о Максиме Горьком. В этих воспоминаниях я старался представить лишь общий психологический облик писателя, как я его видел и понимал, не касаясь и не намереваясь касаться всей политической стороны его жизни. Однако, просматривая разные советские издания, в которых не прекращается очень детальное изучение не только творчества, но и биографии Горького, я убедился, что вся эпоха его пребывания за границей, начиная с 1921 г., либо обходится молчанием, либо, что еще хуже, дается в неверном освещении. Читателю советских изданий неизменно внушается мысль, что Горький покинул советскую Россию единственно по причине расстроенного здоровья, во все время своего пребывания за границей не терял самой тесной связи с пра-

\* Публикуется по журналу «Современные записки», №70, Париж, 1940 (оригинальный заголовок «Горький»), Нью-Йоркская публичная библиотека.

вительством и вернулся тотчас, как только выздоровел. В действительности все это было совсем не так. Я, однако же, не решился бы обвинять авторов в сознательной лжи. Весьма вероятно, что документы, могущие осветить истинное положение дел, в СССР отчасти уничтожены, отчасти скрыты от тех, кто там пишет о Горьком. Свидетели, от которых можно бы узнать правду, сравнительно весьма многочисленны, но и они молчат и будут молчать: одни — потому что заинтересованы в сокрытии истины, другие — потому что боятся ее хотя бы приоткрыть.

Ввиду того, что именно эта потаенная эпоха горьковской жизни в значительной части прошла у меня на глазах, мне показалось, что мой долг сохранить для будущего хотя бы те сведения, которыми я располагаю.

Мой рассказ имеет мемуарный, а не исследовательский характер. Вследствие этого он, во-первых, не простирается за хронологические пределы моего личного общения с Горьким. Во-вторых, и я это в особенности подчеркиваю, он отнюдь не претендует на то, чтобы даже за этот период охватить всю тему, представить отношения Горького с властью во всей полноте. Для такого охвата я даже и не располагаю надлежащими сведениями, потому что знаю, что многое, происходившее в ту пору, остается мне неизвестно. В-третьих, именно в силу того, что я оперирую не со всей суммой данных, а лишь с теми, которые входят в состав моих личных воспоминаний, я воздерживаюсь от широких обобщений и выводов.

Наконец, я считаю долгом сделать еще одно замечание. Весьма многое из того, о чем я рассказываю, фактически происходило вне моего присутствия и непосредственного созерцания. Однако то, чему я сам не был и не мог быть свидетелем, сообщается не иначе, как со слов самого Горького, либо со слов других действующих лиц, либо на основании имеющихся у меня документов, в том числе — писем Горького. Никакими печатными материалами и сведениями из вторых рук я не пользуюсь.

Осенью 1918 года меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением издательства «Всемирная литература», только что возникшего под эгидой Максима Горького. Приняв предложение, я вернулся в Москву. Работа моя протекала в постоянном и тесном общении с петербургским правлением. Я каждый день сносился с ним по прямому проводу, установленному в моем кабинете.

Постепенно мне стало ясно, что Горький, хотя ему принадлежала идея издательства, мало интересуется его текущими делами, которые находились в руках близких к нему людей: А.Н.Тихонова и З.И.Гржебина.

«Всемирная литература» числилась состоящей «при народном комиссариате по просвещению», но фактически была автономна. Вся связь между нею и наркомпросом выражалась в том, что правительство оплачивало ее расходы, а ее сотрудники числились на советской службе. С того момента, как было учреждено Государственное издательство, то есть с весны 1919 г., ассигновки на «Всемирную литературу» шли через Госиздат, и я туда обращался всякий раз, как мне нужны были деньги. Осенью того же года N... однажды позвонил мне по телефону и сказал следующее: «На Петербург наступают войска ген. Юденича. Петербург, вероятно, будет ими временно занят, благодаря чему откроется финляндская граница. Необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы закупить в Финляндии партию бумаги для «Всемирной литературы». Однако на советские деньги там ничего не продают. Поэтому отправляйтесь немедленно в Госиздат и потребуйте, чтобы вам выдали необходимую сумму денежными знаками Временного правительства. Получив деньги, известите меня, а я вам тогда скажу, как их сюда переслать».

Не помню, какую сумму назвал N... Во всяком случае, она была очень велика и в несколько раз превышала те суммы, которые мне обычно приходилось брать в Государственном издательстве. Кроме того, деньги Временного правитель-

ства в ту пору еще имели мистическую, но почти валютную ценность и расходовались только на самые важные государственные и партийные надобности. Всякие частные операции с ними сурово преследовались, и даже само хранение их считалось чуть ли не преступлением. Кроме этого, мне показалось рискованно идти в советское учреждение и там развешивать планы, основанные на предстоящих неудачах красной армии. Поэтому я ответил N..., что прошу его требование изложить на бумаге и прислать мне не иначе, как за подписью самого Горького. После некоторых препирательств N... повесил трубку. Однако на другой день бумага пришла, и мне ничего не оставалось, как отправиться с ней в Госиздат.

Заведовал им В.В.Воровский, тот самый, который впоследствии был убит в Лозанне. Это был сухощавый, сутуловатый человек приметно слабого здоровья. Он элегантно одевался и тщательно ухаживал за своей седеющей бородой — может быть, даже слегка подвивал ее — и за своими красивыми, породистыми руками. Он был образован и хорошо воспитан. У нас сложились добрые отношения. Раз или два случалось мне встретить его на Пречистенском бульваре и сидеть с ним на скамейке у памятника Гоголю. Когда я представил ему горьковскую бумагу, он прочел ее, пощелкал по ней пальцем, покачал головой и сказал, улыбаясь (помню его слова с абсолютной точностью):

— Ай, ай, ай! Ай да Алексей Максимович! Так сам и прощется в Чрезвычайку!

Потом, обратясь ко мне, он прибавил заботливо и серьезно:

— Денег, конечно, им не дадут, и бумажку эту я уничтожу. А если они будут настаивать на дальнейших хлопотах, то скажите им, что лично вы не хотите путаться в это дело.

Горьковская бумага, однако, не была уничтожена, а попала в руки секретарю Воровского, и несколько времени спустя, когда уже и Юденич откатился от Петербурга, в «Правде» (а может быть — в «Известиях») появилась статья

на тему о том, что до сих пор существует в РСФСР частное издательство Гржебина, набивающего себе карманы на заказах советского правительства — в частности комиссариата по военным делам; что тот же Гржебин ворочает делами «Всемирной литературы», с деньгами которой недавно собирался перебежать к Юденичу, — и что всем этим махинациям покровительствует Максим Горький. Горький тотчас примчался в Москву с Гржебиным и, кажется, Десницким. Историю ему удалось замять, но с большим трудом и только благодаря вмешательству Ленина. Вообще в Кремле к нему относились подозрительно, а порой и враждебно. Главные интриги шли, видимо, со стороны Каменевых.

Наркомпрос разделялся на несколько отделов, в числе которых был театральный, так называемый Тео. В нем номинально сосредоточивалось управление всеми театрами республики. На деле Тео ничем не управлял, отчасти по общим тогдашним условиям, отчасти же потому, что во главе его стояла Ольга Давыдовна Каменева, жена председателя московского Совета и сестра Троцкого, не имевшая о театре не малейшего понятия, занявшая свой высокий пост благодаря влиянию брата и мужа. Назначение Каменевой причиняло страшные муки жене Горького, Марии Федоровне Андреевой, считавшей, что возглавление Тео по праву должно принадлежать ей (что отчасти было бы справедливо, потому что она, как-никак, бывшая артистка, а Каменева — не то акушерка, не то зубной врач). Вражда между высокопоставленными дамами не затихала. Мария Федоровна вела под Каменеву подкопы, но та стойко оборонялась, в чем ей помогал В.Э.Мейерхольд. Однажды в Петербурге, в квартире Горького, симпровизировал я на эту тему целую былинку, из которой помню лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка,  
Свет-княгинюшка Ольга Давыдовна:  
«Уж ты гой еси, Марахол Марахолович,

Славный богатырь наш, скоморошина!  
 Ты седлай свою коня борзого,  
 Ты скачи ко мне на Москва-реку!  
 Как Андреева, ведьма лютая,  
 Извести меня обещалася,  
 Из Тео меня хочет выместить,  
 Из Кремля меня хочет вытрясти,  
 Малых детушек в полон забрать!»  
 Седлал Марахол коня борзого  
 Прискакал тогда на Москва-реку.  
 А и брал он тую Андрееву  
 За белы груди да за косыньки,  
 Подымал выше лесу синего,  
 Ударял ее об сыру землю — и т.д.

Больше всего, конечно, помогало Каменевоу то, что Луначарский, тогдашний комиссар народного просвещения, хорошо относился к Горькому, но был в дурных отношениях с его женой. Причина этих неладов была вполне анекдотическая. В эпоху первой эмиграции существовала, как известно, большевистская колония на Капри. Жил там и Луначарский с семьей. Однажды у него умер ребенок. Похоронить его по христианскому обряду Луначарский как атеист не мог, а просто зарыть трупик в землю все же оказалось ему нехорошо. Чудак додумался до того, что стал над мертвым младенцем читать стихи Бальмонта. Мария Федоровна Андреева подняла его на смех при всей честной компании. Произошла ссора, кончившаяся по тогдашнему обычаю третейским судом. Противников помирили, но сам Горький мне говорил, что Луначарский навсегда возненавидел Марию Федоровну и именно по этой причине обошел ее при назначении заведующей Тео.

В феврале 1920 г., когда уже Каменевоу перевели из Тео в отдел социального обеспечения, я однажды имел с ней длинную и в некоторых отношениях любопытную беседу, во время которой она, между прочим, спросила, продолжаю

ли я заведовать «Всемирной литературой». На мой утвердительный ответ она сказала:

— Удивляюсь, как вы можете знаться с Горьким. Он только и делает, что покрывает мошенников — и сам такой же мошенник. Если бы не Владимир Ильич, он давно бы сидел в тюрьме!

\* \* \*

Помимо личного раздражения, в словах Каменевоу, может быть, следует расслышать отголосок другой, более упорной и деятельной вражды, несомненно сыгравшей важнейшую роль в жизни Горького и в истории его отношений с советским правительством. Я имею в виду его нелады с Григорием Зиновьевым, всесильным в ту пору комиссаром Северной области, смотревшим на Петербург, как на свою вотчину.

Когда, почему и как начали враждовать Горький с Зиновьевым, я не знаю. Возможно, что это были тоже давние счеты, восходящие к дореволюционной поре; возможно, что они возникли в 1917-1918 годах, когда Горький стоял во главе газеты «Новая жизнь», отчасти оппозиционной по отношению к ленинской партии и закрытой советским правительством одновременно с другими оппозиционными органами печати. Во всяком случае, к осени 1920 года, когда я переселился из Москвы в Петербург, до открытой войны дело еще не доходило, но Зиновьев старался вредить Горькому где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал. Продовольствие, топливо и одежда, которые Горький с величайшим трудом добывал для ученых, писателей и художников, перехватывались по распоряжению Зиновьева и распределялись неизвестно по каким учреждениям. Ища защиты у Ленина, Горький то и дело звонил к нему по телефону, писал письма и лично ездил в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно,

ценил Горького как писателя, а Зиновьева — как испытанного большевика, который был ему нужнее.

Недавно в журнале «Звезда» один ученый с наивным умилением вспоминал, как он с Горьким был на приеме у Ленина и как Ленин участливо советовал Горькому поехать за границу — отдохнуть и лечиться. Я очень хорошо помню, как эти советы огорчали и раздражали Горького, который в них видел желание избавиться от назойливого ходатая за «врагов» и жалобщика на Зиновьева. Зиновьев, со своей стороны не унимался. Возможно, что легкие поражения, которые порой наносил ему Горький, даже еще увеличивали его энергию. Дерзость его доходила до того, что его агенты перлюстрировали горьковскую переписку — в том числе письма самого Ленина. Эти письма Ленин иногда посылал в конвертах, по всем направлениям прошитых ниткою, концы которой припечатывались сургучными печатями. И все-таки Зиновьев каким-то образом ухитрялся их прочитывать — об этом впоследствии рассказывал мне сам Горький. Незадолго до моего приезда Зиновьев устроил в густо и пестро населенной квартире Горького повальный обыск. В ту же пору до Горького дошли сведения, что Зиновьев грозит арестовать «некоторых людей, близких к Горькому». Кто здесь имелся в виду? Несомненно — Гржебин и Тихонов, но весьма вероятно и то, что замышлялся еще один удар — можно сказать, прямо в сердце Алексея Максимовича.

Несколько лет тому назад вышла книга английского дипломата Локкарта — воспоминания о пребывании в советской России. В этой книге фигурирует, между прочим, одна русская дама — под условным именем *Мара*. Оставим ей это имя, уже в некотором роде освященное традицией...

Личной особенностью Мары надо признать исключительный дар достигать поставленных целей. При этом она всегда умела казаться почти беззаботной, что надо приписать незаурядному умению притворяться и замечательной выдержке. Образование она получила «до-

машнее», но благодаря большому такту ей удавалось казаться осведомленной в любом предмете, о котором шла речь. Она свободно говорила по-английски, по-немецки, по-французски и на моих глазах в два-три месяца заговорила по-итальянски. Хуже всего она говорила по-русски — с резким иностранным акцентом и явными переводами с английского: «вы это вынули из моего рта», «он сел на свои большие лошади» и т.п.

Она рано вышла замуж, после чего жила в Берлине, где ее муж был одним из секретарей русского посольства. Тесные связи с высшим берлинским обществом сохранила она до сих пор. В начале войны она приехала в Петербург, выказала себя горячей патриоткой, была сестрой милосердия в великосветском госпитале, которым заведовала бар. В.И. Иксуль, вступила в только что возникшее общество англо-русского сближения и завязала дружеские связи в английском посольстве.

В 1917 г. ее муж был убит крестьянами у себя в имении — под Ревелем. Ей было тогда лет двадцать семь. В момент Октябрьской революции она сблизилась с упомянутым Локкартом, который, в качестве поверенного в делах, заменил уехавшего английского посла Бьюкенена. Вместе с Локкартом она переехала в Москву и вместе с ним была арестована большевиками, а затем отпущена на свободу.

Покидая Россию, Локкарт не мог ее взять с собой. Выйдя из ЧК, она поехала в Петербург, где писатель Корней Чуковский, знавший ее по англо-русскому обществу, достал ей работу во «Всемирной литературе» и познакомил с Горьким. Вскоре она пыталась бежать за границу, но была схвачена и очутилась в ЧК на Гороховой. Благодаря хлопотам Горького ее выпустили. Она поселилась в его квартире на положении секретарши. Вот ее-то Зиновьев и мечтал посадить еще раз.

Время от времени у Горького собирались петербургские большевики, состоявшие в оппозиции к Зиновьеву, большей частью лично им обиженные: Лашевич, Бакаев, Зорин, Гес-

сен и другие. Однако им приходилось ограничиваться злословием по адресу Зиновьева, чтением стихов, в которых он высмеивался, и тому подобными невинными вещами. У меня создалось впечатление, что они вели на заводах некоторую осторожную агитацию против Зиновьева. Но дальше этого дело не шло, для настоящей борьбы сил не было.

Вскоре, однако, на горизонте оппозиции блеснул луч света. Общеизвестна расправа, учиненная Зиновьевым над матросами, захваченными в плен во время кронштадского восстания. Я сам видел, как одну партию пленников вели под конвоем, и они, грозя кулаками встречным рабочим, кричали:

— Предатели! Сволочи!

Уцелевшие матросы в переодетом виде ходили к Горькому, и, наконец, в руках у него очутились документы и показания, уличавшие Зиновьева не только в безжалостных и бессудных расстрелах, но и в том, что само восстание было отчасти им спровоцировано. Каковы были при этом цели Зиновьева — не знаю, но о самом факте провокации Горький мне говорил много раз. С добытыми документами Горький решил ехать в Москву. По-видимому, он надеялся, что на этот раз Зиновьеву несдобровать.

В Москве, как всегда, он остановился у Екатерины Павловны Пешковой, своей первой жены. У нее же на квартире состоялось совещание, на котором присутствовали: Ленин, приехавший без всякой охраны, Дзержинский, рядом с шофером которого сидел вооруженный чекист, и Троцкий, за несколько минут до приезда которого целый отряд красноармейцев оцепил весь дом. Выслушали доклад Горького и решили, что надо выслушать Зиновьева. Его вызвали в Москву. В первом же заседании он разразился сердечным припадком — по мнению Горького, симулированным (хотя он и в самом деле страдал сердечной болезнью). Кончилось дело тем, что Зиновьева пожурили и отпустили с миром. Нельзя было сомневаться, что теперь Зиновьев сумеет

Алексею Максимовичу отплатить. Боясь за Мару, Горький потребовал для нее заграничный паспорт, который ему тотчас выдали в компенсацию за понесенное поражение. Горький привез паспорт в Петербург, и Мара была эвакуирована в Эстонию. Мы еще к ней вернемся.

\* \* \*

Весной того же года Луначарский подал в Политбюро заявление, поддержанное Горьким, — о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором, вновь хлопоча за Блока, ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что же вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем как Блок — поэт революции, наша гордость, о нем была даже статья в Times'e, а Сологуб — наш враг, ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов — и т.д.

В один из самых последних дней июня я зашел к Горькому. После ужина он повел меня в свой маленький, тесный кабинет, говоря: «Пойдемте, я вам покажу штукуну» — и показал мне копию письма Луначарского, датированного 22 числом. Пока я читал, он несколько раз спрашивал: «Каково? Хорошо?» Прочитав, я сказал: «Осел». — «Не осел, а сукин сын», — возразил он, покраснев, и тотчас прибавил: «Извините, пожалуйста». (Он не любил бранных слов и почти никогда их не употреблял.)

Мы вернулись в столовую. За чаем он хмурился, не принимал участия в разговоре, иногда вставал и, ходя по комнате, бормотал уже во множественном числе: «Ослы! Ослы!»

Все это лето он был в подавленном настроении. Сологубовская история была, однако ж, ничто по сравнению с неприятностями, которые еще предстояло ему пережить. Только что описанный мой визит был прощальный: я соби-

рался в деревню. Дней через пять, в самую ночь перед моим отъездом из Петербурга, были произведены многочисленные аресты по знаменитому таганцевскому делу. Был схвачен целый ряд представителей интеллигенции, в том числе Гумилев и старый приятель Горького Тихвинский. Впоследствии обвиняли Горького в том, что по этому делу он не проявил достаточно энергии. Повторяю — меня не было в Петербурге, я вернулся туда только после того, как осужденные были уже расстреляны. Однако на основании самых достоверных источников я утверждаю, что Горький делал неслыханные усилия, чтобы спасти привлеченных по делу, но его авторитет в Москве был уже равен почти нулю. Не могу этого утверждать положительно, но вполне допускаю, что, в связи с Зиновьевым, заступничество Горького даже еще ухудшило положение осужденных.

Слухи о том, что его обвиняют в бездействии, доходили до Горького. Обычно он мало, даже слишком мало считался с общественным мнением, даже любил его раздражать, но на этот раз переживал напраслину очень тяжело, хотя по обыкновению своему не оправдывался. Может быть, собственное непреодолимое упрямство его мучило. Между тем, на него надвигалась еще беда, еще одно поражение — может быть, самое тяжкое из всех, понесенных им в Кремле.

Уже с весны сделалось невозможно скрывать, что в России, в особенности на Волге, на Украине, в Крыму, свирепствует голод. В Кремле, наконец, переполошились и решили, что без содействия остатков общественности обойтись невозможно. Привлечение общественных сил было необходимо еще для того, чтобы заручиться доверием иностранцев и получить помощь из-за границы. Каменев, не без ловкости притворявшийся другом и заступником интеллигенции, стал нащупывать почву среди ее представителей, более или менее загнанных в подполье. Привлекли к делу Горького. Его призыв, обращенный к интеллигенции, еще раз возымел действие. Образовался Всероссийский комитет помощи голодающим, виднейшими деятелями ко-

торого были Прокопович, Кускова и Кишкин. По начальным словам этих фамилий Комитет тотчас получил дружески-комическую, но провиденциальную кличку: Прокукиш. С готовностью, даже с рвением шли в Комитет писатели, публицисты, врачи, адвокаты, учителя и т.д. Одних привлекала гуманная цель. Мечты других, может быть, простирались далее. Казалось — лиха беда начать, а уж там, однажды вступив в контакт с «живыми силами страны», советская власть будет в этом направлении эволюционировать, замерзший мотор общественности заработает, если всю машину немножечко потолкать плечом. Нэп, незадолго перед тем объявленный, еще более окрылял мечты. В воздухе пахло «весной», точь-в-точь, как в 1904 году. Скептиков не слушали. Председателем Комитета избрали Каменева и заседали с упоением. Говорили красиво, много, с многозначительными намеками. Когда за границей узнали о возрождении общественности, а болтуны высказались, Чека, разумеется, всех арестовала гуртом, во время заседания, не тронув лишь «председателя». При этой okazji кто-то что-то еще сказал, кто-то отпустил «смелую» шуточку, а затем отправились в тюрьму. Горький был в это время в Москве — а может быть, поехал туда, узнав о происшествии. Его стыду и досаде не было границ. Встретив Каменева в кремлевской столовой, он сказал ему со слезами:

— Вы сделали меня провокатором. Этого со мной еще не случалось.

Вернувшись в Петербург в конце сентября или в начале октября, Горький, наконец, понял, что пора воспользоваться советами Ленина, и через несколько дней покинул советскую Россию. Он поехал в Германию.

\* \* \*

Я собрался за границу летом 1922 года. Кое-кто из общих друзей просил меня отвезти Алексею Максимовичу письма, которые нельзя было доверить почте. Принять подобное поручение теперь было бы сумасшествием. Но те вре-

мена были еще идиллические. Я преспокойно довез письма до Берлина. В день приезда я написал Горькому в приморское местечко Герингсдорф, спрашивая, когда можно его застать. Он ответил: «Если это удобно для Вас, приезжайте в четверг... Очень рад буду видеть Вас и рад, что Вы, наконец, отдохнете». Затем шла удивившая меня фраза: «До свидания со мной — подождите принимать предложения «Накануне».

Как все помнят, «Накануне» была сменовеховская газета, выходившая в Берлине под редакцией Алексея Толстого.

Толстого я еще не видел и никаких предложений от него не получал. Мне показалось странно, что Горький так забегаает вперед. Приехав к нему, я все понял: по отношению к советскому правительству он оказался настроен еще менее сочувственно, чем я. Подробно расспрашивая о петербургских писателях, преимущественно о молодежи, чуть ли не по поводу каждого прибавлял: «Эх, хорошо бы его сюда вызволить!»

В сентябре месяце, когда Каменев и Зиновьев разгромили литературные организации Москвы и Петербурга и устроили знаменитую высылку писателей за границу, он сказал, что, конечно, высланным здесь будет лучше, но Каменева и Зиновьева ругал последними словами. И вдруг прибавил, что было бы хорошо, если бы я написал об этом, попутно упомянув о провокации Зиновьева в кронштадтской истории. На мой удивленный вопрос — где же написать? — он ответил: «Да хотя бы в «Голосе России». Бездарная газета, но порядочная». После некоторых колебаний, я статью написал и напечатал. Так, под прямым воздействием Горького, началось мое, сперва тайное, под псевдонимом, участие в эмигрантской печати.

Поздней осенью Горький меня убедил переселиться в городок Saagow, в двух часах езды от Берлина. Мы виделись ежедневно. Вскоре возникла мысль об издании журнала. Принадлежала она не Горькому, а Виктору Шкловскому, бежавшему из России примерно за год до этого (он был привлечен по делу эсеров).

Надо принять во внимание, что до 1922 г. в России существовала только военная цензура. В 1922 г. была введена общая, весьма придирчивая и совершенно идиотская, как все ей подобные. Сверх того, частные издательства и журналы прекратили существование, а казенные все откровеннее требовали агиток. Вот и придумал Шкловский издавать такой журнал, в котором писатели, живущие в сов. России, могли бы через голову цензуры и казенных редакций печатать вещи, не содержащие, разумеется, выпадов против власти, но все же написанные не по ее указке. Теперь такая затея показалась бы дикостью. Тогда она была вполне осуществима. Издательство «Слово» выпустило книгу Ахматовой и переслало ей гонорар. Петербургские поэты открыто посылали стихи в берлинский журнал «Сполохи». Гершензон, приехавший в Германию на несколько месяцев для лечения, дал статью даже в «Современные записки». Достать необходимые средства также не представляло труда, потому что советское правительство усердно распускало слухи, что оно намерено допускать в Россию зарубежные издания, не содержащие агитации против власти и отпечатанные по новой орфографии. Разумеется, эти слухи не вязались с введением внутренней цензуры, но к неувязкам в распоряжениях Москвы привыкли. Впоследствии стало ясно, что тут действовала чистейшая провокация: в Москве хотели заставить зарубежных издателей произвести крупные затраты в расчете на огромный внутрirosсийский рынок, а затем границу закрыть и тем самым издателей разорить. Так и вышло: целый ряд берлинских издателей взорвался на этой mine. С издателем Гржебиным поступили еще коварнее: ему надавали твердых заказов на определенные книги, в том числе на учебники, на классиков и т.д. Он вложил в это дело все свои средства, но книги у него не взяли, и он был разорен вдребезги. Но, повторяю, провокация обнаружилась лишь впоследствии. Шкловский увлек своей затеей Горького и меня. Мы выработали план журнала. Редакция литературного отдела составила из



Горького, Андрея Белого и меня. Научный отдел, введенный по настоянию Горького, был поручен профессорам Брауну и Адлеру. По моему предложению будущий журнал назвали «Беседой», в память Державина. До сих пор ходят слухи, что он издавался на московские деньги. В действительности его выпускало издательство «Эпоха», основанное на средства меньшевика Д.

«Эпоха» тем охотнее пошла нам навстречу, что участие Горького, казалось, гарантировало допущение журнала в советскую Россию. Так же точно смотрел на дело и сам Горький, все еще веривший, что его авторитет у большевиков не окончательно утрачен. На деле вышло другое. Весной 1923 г. появилась первая книжка «Беседы». За ней последовала вторая. «Международная книга», берлинское советское учреждение, ведавшее книготорговлей, приобретала наш журнал в количестве не то десяти, не то двадцати экземпляров, уверяя, однако, что, как только будет получено разрешение на ввоз «Беседы» в РСФСР, она будет покупать не менее тысячи. Горький писал в Москву письма — не знаю, кому, — при мне говорил о «Беседе» с приехавшим в Сааров Рыковым, который в то время был заместителем Ленина. В ответ получались обещания уладить дело и ссылки на канцелярскую волокиту. Тогда он решился на репрессию: написал в Москву, что не будет сотрудничать в советских изданиях, пока «Беседу» не пропустят в Россию. Этого решения он придерживался даже ригористически. Некто Лежнев еще ухитрялся издавать в Москве собственный журнал под смелым названием «Россия». Осенью 1923 г. он был в Берлине и мечтал познакомиться с Горьким, но тот был во Фрейбурге. Я согласился написать Горькому и попросить у него рассказ, подчеркнув, что дело идет о частном, а не о казенном издании. Горький ответил: «Рассказ Лежневу я не могу дать до поры, пока не разрешится вопрос о допущении «Беседы» в Россию. Имею сведения, что вопрос этот «рассматривают». О, Господи...»

Характерно, что несколько месяцев тому назад существ-

вовали как будто только технические, канцелярские препятствия, а теперь оказывалось, что весь вопрос еще должен быть обсужден принципиально, то есть в высших инстанциях. В то же время стало обнаруживаться, что в России косо смотрят на писателей, посылающих материал в «Беседу». Рукописи оттуда почти не приходили, и таким образом отпадал смысл всего предприятия. Но Горький уже сжился с мыслью о свободном журнале. Кроме того, ему было необходимо настоять на своем, чтобы поддержать в Кремле свой падающий авторитет, которым он весьма дорожил, несмотря на то, что, кроме умирающего Ленина, ненавидел весь Кремль. Утратить этот авторитет — значило «испортить биографию», потерять ореол любимца «революционных масс» и титул «буревестника». Недаром Троцкий уже осмеливался открыто, в печати, называть его контрреволюционером.

Во Фрейбурге за ним по пятам ходили шпики: немецкие, боявшиеся, что он сделает революцию, и советские, следившие, как бы он не сделал контрреволюцию. Меж тем, Германии в самом деле грозила опасность превратиться в советскую республику. Надо было оттуда уезжать. Я двинулся в Прагу, намереваясь затем пробраться в Италию. 26 ноября Горький тоже приехал в Прагу, где нам, однако, не нравился климат и жить было беспокойно. В ожидании итальянских виз мы через две недели уехали в Мариенбад.

Слухи об охлаждении между Горьким и советским правительством ходили давно. Он сам не скрывал своих настроений. Через несколько дней по приезде в Мариенбад я получил письмо из одного эмигрантского журнала — просили узнать, не согласится ли Алексей Максимович в нем участвовать. Я передал вопрос Горькому и с его слов ответил, что в принципе это возможно, но эмигрантская печать должна первая сделать некоторые шаги к сближению.

Это незначительное событие имело, однако ж, последствия.

Сердце Алексея Максимовича было чувствительно, но из-

менчиво. Покидая Петербург, он отнюдь не намеревался встретиться за границей с Марой. Со своей стороны, по приезде в Эстонию она тотчас вышла замуж... Но лишь только Алексей Максимович очутился в Германии, она явилась туда же и энергичнейшим образом добилась того, что к моему приезду из России уже занимала прочное положение при нем, а затем, вместе с его сыном и снохой, сопровождала его во всех скитаниях по Европе.

Не знаю, в какой степени серьезно отнесся Горький к возможности своего участия в эмигрантском журнале. Думаю даже, что он только представлял себе это, как соблазнительный, но несбыточный поступок — вроде выхода из советского подданства, о чем он порой даже принимался писать заявление во ВЦИК, быть может — до слез умиляясь над этим трагическим посланием, о котором знал наперед, что никогда его не отправит по адресу. Как бы то ни было, он, по-видимому, рассказал Маре о полученном мною письме. Выждав дня два, она как-то вечером, когда все улеглись, позвала меня к себе в комнату — «поболтать». Должен отдать справедливость ее уму. Без единого намека, без малейшего подчеркивания, не выпадая из тона дружеской беседы, в ночных туфлях, она сумела мне сделать ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства мне ведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала, но — Максим (сын Горького) вы сами знаете, что такое, он только умеет тратить деньги на глупости. Кроме него, у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, *нам* нужно не меньше десяти тысяч долларов в год. Одни иностранные издательства столько дать не могут, если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они и совсем ничего не дадут, да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию. «Поймите меня, я же монархистка до мозга костей, я же их ненавижу, — несколько раз напоминала она, — но что поделаешь? Для

блага Алексея Максимовича и всей семьи надо не ссорить его с большевиками, а, наоборот, — всячески смягчать отношения. Все это необходимо и для общего нашего мира», — прибавила она очень многозначительно. После этого разговора я стал замечать, что настроения Алексея Максимовича внушают окружающим беспокойство и что меня подозревают в дурном влиянии.

Жизнь в опустелом зимнем Мариенбаде была до крайности однообразна: днем работа, прогулка, вечером долгое чаепитие, раза два — общий выезд в синематограф, вот и все. Однажды за ужином подали телеграмму от Екатерины Павловны Пешковой. Максим распечатал ее и прочел вслух: «Владимир Ильич скончался, телеграфируй текст надписи на венке». Мне показалась забавной такая забота о том, чтобы Алексей Максимович не забыл принять участие в официальной скорби. Я взглянул на него. Он с минуту сидел молча, с очень серьезным, даже вроде как злым лицом, потом встал и вышел из комнаты.

Чуть ли не на другой день Мара его засадила писать воспоминания о Ленине — были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки. Едва он их кончил, из Берлина, как будто случайно, приехал заведующий «Международной книгой» Крючков. Алексею Максимовичу доказали, как дважды два, что буревестник революции обязан высказаться о великом вожде революции, т.е. ради такого случая он должен нарушить зарок и разрешить печатание воспоминаний в России. Крючков увез с собой рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям. Как раз в это время Н.К.Крупская прислала письмо с описанием последних дней Ленина. Горький ответил ей резким письмом, в котором категорически требовал допустить в Россию «Беседу».

\* \* \*

Вскоре я уехал в Италию, прожил там месяц и покинул Рим утром 13 апреля. Горький с семьей приехал туда несколько часов спустя (таким странным образом мы с ним

разъезжались три раза в жизни). Я поселился в Париже. Тем временем письмо к вдове Ленина, казалось, возымело действие. В конце мая месяца Мара прислала мне радостное известие: «Беседа» допущена в Россию. Весьма любопытно, что это сообщение было сделано ею в виде приписки на письме Горького, который сам мне об этом не обмолвился ни единым словом: не потому ли, что сомневался? Как бы то ни было, я был обрадован, потому что дела «Беседы», издание которой за несколько месяцев до того стало единоличным делом С.Г.Сумского, находились в катастрофическом состоянии.

Радость, однако, была преждевременна. 26 июня С.Г.Сумский сообщил мне, что «Международная книга» обещает купить для советской России до тысячи экземпляров каждого номера. 25 августа он уже мне писал, что «по-видимому, разрешение дано А.М. для утешения, а «Беседу» приказано душиť». Наконец, во второй половине сентября, через четыре месяца после «разрешения», «Международная книга» купила по десяти экземпляров 1, 2 и 3 номеров «Беседы» и по двадцати пяти экземпляров 4-го и 5-го номеров: итого — восемьдесят экземпляров вместо обещанных пяти тысяч. Тогда же обнаружилось, что даже те экземпляры, которые были посланы в публичную библиотеку и Румянцевский музей, имевшие право получать книги из-за границы без цензуры, — вернулись в Берлин с надписью: «Запрещено к ввозу». Стало ясно, что Сумский прав: Горького просто водили за нос.

Прожив несколько месяцев в Париже и в Ирландии, в начале октября я приехал в Сорренто и застал Горького на положении человека опального. Полпредство, недавно учрежденное в Риме, игнорировало его пребывание в Италии. Его переписка с петербургскими писателями откровенно перлюстрировалась, некоторые письма в ту и в другую сторону вовсе пропадали. Из большевиков писал только Рыков. В советских журналах о Горьком отзывались весьма скептически, а в газетах появлялись заметки и вовсе ос-

корбительные. Так, в «Известиях» было напечатано, что проворовался управляющий магазином ГУМ (бывший Мюр и Мерилиз); тут же сообщалось, что он был принят на службу по рекомендательному письму Горького (что весьма вероятно, ибо Горький давал такие письма кому попало по первой просьбе); дальше шли намеки на то, что и сам Горький причастен к хищениям своего ставленника. (Любопытно бы знать, фигурирует ли этот номер газеты в числе документов новооткрытого Горьковского музея.)

Сам Алексей Максимович говорил о большевиках с раздражением или с иронией: либо «наши умники», либо «наши олухи». Чтение советских газет портило ему кровь, и Мара иногда их прятала от него. Однако, когда в Сорренто приехал лечиться московский писатель Андрей Соболев, Алексей Максимович при нем считал нужным носить официальную советскую маску: о советских делах отзывался с официальным оптимизмом; восторженно, с классическими слезами на глазах говорил о «замечательных ребятах» — советских писателях, ученых, изобретателях, давая понять, что только теперь «замечательные ребята» получили возможность развернуть непочатый запас творческих сил. Стоило Соболеву уйти — маска снималась. Соответственную личину надевал и Соболев при Горьком: ложь порождала ложь.

Однажды Соболев не выдержал: стал жаловаться, что советская критика все более заменяется политическим сыском и доносами. Как на одного из самых рьяных доносчиков он указывал на некоего Семена Родова, которого Горький не знал, но которого хорошо знал я. Я сказал, что напишу о Родове статью в газете «Дни», выходящей в Берлине под редакцией А.Ф.Керенского. Перед отсылкой статьи я прочел ее Горькому: в статье заключались весьма неблагоприятные сведения о Родове. Велико было мое удивление, когда Алексей Максимович, прослушав, сказал: «Разрешите мне приписать, что я присоединяюсь к вашим словам и ручаюсь за достоверность того, что вы пишете».

«Позвольте, — возразил я, — ведь вы же не знаете Родова? Ведь это же будет неправда?» — «Но я же вас знаю», — ответил Горький. — «Нет, Алексей Максимович, это не дело».

Сказав так, я тотчас пожалел об этом, потому что представил себе, каков был бы эффект, если бы горьковская «виза» появилась под статьей, напечатанной в газете Керенского. Неприятно было и то, что он заметно огорчился и каким-то виноватым тоном попросил: «Тогда, по крайней мере, пометьте под статьей: Сорренто». Я с радостью согласился, и статья «Господин Родов» появилась в «Днях» с этой пометкой. Некоторый эффект, мне кажется, произвела и она. Дело в том, что через несколько времени Соболев собрался в Рим, намереваясь, между прочим, посетить своего приятеля, секретаря полпредства. Желая измерить температуру моих отношений с начальством, я дал Соболеву свой советский паспорт, по которому уже не жил и срок которого кончился. Этот паспорт я просил пролонгировать. Вернувшись, Соболев отдал мне паспорт без пролонгации и сообщил, что секретарь полпредства ему сказал: «Верните паспорт Ходасевичу, и забудем обо всем этом, потому что я обязан не пролонгировать его паспорт, а поставить визу для немедленного возвращения в Россию». На вопрос, за что такая немилость, секретарь ответил, что я оказываю дурное влияние на Горького. Курьезная и жалостная подробность: бедный Соболев был совершенно уверен, что, если бы секретарь прилепнул к моему паспорту обратную визу, я бы так сразу в Москву и кинулся.

В феврале 1925 года приехала Екатерина Павловна Пешкова. Сразу бросился в глаза новый тон, которого раньше я в ней не замечал: покровительственный, снисходительный. Она ходила по дому с таким видом, словно хотела сказать: «Ну, ну, покажите, как вы ютитесь тут». Я показал ей вид с моего балкона — она и к морю отнеслась свысока и как-то дала почувствовать, что мысли ее заняты более серьезными, может быть, — государственными проблема-

ми. Высказывалась лаконически и безапелляционно. С неожиданным восторгом она то и дело принималась говорить о предназначениях советской власти, стараясь показать, что в Кремле от нее нет тайн. Чувствовалось, что и себя саму причисляет она к высшим сферам. Словом, держалась самой настоящей кремлевской дамой.

С первого же дня ее пребывания начались в кабинете Алексея Максимовича какие-то долгие беседы, после которых он ходил словно на цыпочках и старался поменьше раскрывать рот, а у Екатерины Павловны был вид матери, которая вернулась домой, увидела, что без нее сынишка набедокурил, научился курить, связался с негодными мальчишками — и волей-неволей пришлось его высечь. Порою беседы принимали оттенок семейных советов — на них приглашался Максим.

Вкратце повторю то, что я уже писал о сыне Алексея Максимовича и Екатерины Павловны. Было ему в ту пору лет тридцать, он был лысоват, женат уже года четыре, но по развитию трудно было дать ему больше тринадцати. Он считал себя чуть ли не коммунистом, но в действительности просто вырос среди большевиков, они его в свое время баловали, и он навсегда сохранил уверенность, что нужно быть таким же, как эти добрые дяди. Он, впрочем, политикой не занимался. По-настоящему увлекали его лишь такие вещи, как теннис, мотоциклетка, коллекция марок, чтение уголовных романов, а в особенности цирк и синематограф, в котором старался он не пропустить ни одного бандитского фильма. Иногда в сердцах Алексей Максимович звал его ослом, иногда же, напротив, с улыбкой умиления смотрел на его паясничанье. В общем, он очень его любил. Характер у Максима был хороший, легкий, на редкость уживчивый. Максим любил транжирить, но не любил, чтобы отец тратил деньги на других, что, впрочем, тоже выходило у него как-то по-детски: зачем давать шоколад другим детям, когда можно отдать весь мне? На этой почве он зорко следил за Марой и иногда обвинял ее в самых некрасивых поступках.

Вскоре по приезде Екатерины Павловны он предложил мне пройтись в Сорренто, это была обычная утренняя прогулка (до Сорренто от нас было километра полтора). Отойдя от дома шагов на пятьсот, он вдруг объявил как-то конфузливо, что хочет со мной посоветоваться. Это меня удивило; ничего подобного прежде не случалось: Максим относился ко мне с некоторой настороженностью и никогда в откровенности не пускался.

Признаюсь, я и до сих пор не понимаю, почему ему вздумалось со мною советоваться. Всего вероятнее, он просто слишком был озадачен и озабочен. Далее произошел у нас следующий диалог, за полную *словесную* точность которого я, разумеется, не ручаюсь (с тех пор прошло больше двадцати лет), но которого ход, содержание и смысл мне совершенно памятливы.

Максим. Вот такая история: мать зовет меня в Россию, а Алексей не пускает (он всегда звал отца по имени).

Я. А самому-то вам хочется ехать?

Максим. Не знаю. Это верно, что я ничего тут не делаю.

Я. А там что вы будете делать?

Максим. Мать говорит, что Феликс Эдмундович (Дзержинский) мне предлагает место.

Я. (не смея еще догадаться). Где? Какое место?

Максим. У себя, конечно, — в Чека.

Многого я мог ожидать, но не этого! Я, однако, сумел сдержаться и продолжал разговор, не ахнув.

Я. В Чека? Да что ж, у него своих людей мало?

Максим. Он меня зовет, я у него работал.

Я. Как? Когда?

Максим. А еще в восемнадцатом году, в девятнадцатом, — когда был инструктором Всеобуча. Тогда в Чека людей не хватало. Посылали нас: меня, Левку Малиновского (это — приятель Максима, сын коммунистки Малиновской, которая одно время заведовала московскими театрами). Интересно, знаете ли, до чертиков. Ночью, бывало, нагрнем — здрасьте пожалуйста! Вот мы раз выловили

этих самых эсеров ваших (намек на мое сотрудничество в «Днях» и в «Современных записках»). Мне тогда Феликс Эдмундович подарил мою коллекцию марок — у какого-то буржуя ее забрали при обыске. А теперь мать говорит, что он обещает мне автомобиль в полное распоряжение. Вот тогда покатаюсь!

По привычке все изображать в лицах и карикатурно, Максим поджимает коленки, откидывает корпус назад, кладет руки на воображаемый руль и бежит рысцой. Потом его левая рука выбрасывается вбок — Максим делает выраж, бежит мне навстречу, прямо на меня, и, изо всех сил нажимая правой рукой незримую грушу, трубит: «Ту! Ту! Ту!».

Не знаю, что со мной было бы, если бы не старинная привычка ничему не удивляться. Новооткрывшаяся страница максимовой биографии меня, впрочем, не тронула. Существа более безответственного я в жизни не видел. Он был несмышлениш в истинном смысле слова. Я тогда же почувствовал и теперь не сомневаюсь, что с его стороны все это было игрою в Шерлока Холмса. Наконец, до него самого мне дела не было. Я как-то даже не задал себе вопроса о том, как смотрит на его чекистские подвиги Горький. Меня тут занимала и изумляла Екатерина Павловна.

На другой день или вроде того Максим зашел вечером в мою комнату, как нередко делал, когда хотелось ему сыграть в шахматы. Я снова навел его на разговор о Чека. Он болтал охотно. Рассказывал о докладе, который делал в Москве Белобородов, убийца царской семьи; назвал мне двух поэтов, сексотов Чека, и т.д.

Екатерина Павловна прожила в Сорренто недели две, собираясь ехать в Прагу. Тут же кстати расскажу маленький анекдот о том, как я сам смешно оскоромился. Накануне отъезда Екатерины Павловны я зачем-то пошел в Сорренто. Иду назад и на главной улице встречаю Екатерину Павловну. «Вот кстати! — говорит она, — зайдемте со мной в магазин, мне нужно купить черепаховый мундштук для подарка, а сама не курю и ничего в этом деле не понимаю». Зашли. Я выбрал отличный мундштук, вставил

в него папиросу, испробовал, хорошо ли тянет, — а вечером Екатерина Павловна за столом сказала, вынув мундштук из сумочки: «Вот какой славный мундштучок мы с Владиславом Фелициановичем выбрали для Феликса Эдмундовича».

Во все время ее пребывания было мне тяжело на душе. Да и вообще атмосфера в доме была тяжелая, натянутая. После ее отъезда Алексей Максимович словно помолодел и стал разговорчив по-прежнему. Однажды он мне сказал:

— Екатерина Павловна тут кружила голову Максиму, звала в Москву. (Про службу в Чека — ни звука.)

— Что ж, пускай едет, коли ему хочется, — сказал я.

Горький слегка рассердился:

— А когда их там всех перебьют, что будет? — спросил он. — Мне все-таки этого дурака жалко. Да и не в нем же дело. Я же вижу, что не в нем дело. Думают — за ним я поеду. А я не поеду, дудки.

И все же вечная, неизбывная двойственность его отношения ко всему, что связано было с советской властью, сказывалась и тут. Несколько раз принимался он с нескрываемой гордой радостью за Екатерину Павловну говорить о том, что теперь она — важное лицо. «Молодец баба, ей-Богу!» — и собрав пальцы в кулак, он их сразу выбрасывал, держа руку ладонью вверх: характерный жест, который он всегда делал, говоря о чем-нибудь красивом, удачном, ловком.

— Вот и сейчас ей, понимаете, поручили большое дело, нужное. Поехала в Прагу мирить эмиграцию с советской властью. Хотят создать атмосферу понимания и доверия. Хотят начать кампанию за возвращение в Россию.

— Да зачем же это им нужно? Что ж, у них своих людей нет?

— Не в людях дело, а в том, что эмиграция вредит в отношениях с Европой. Необходимо это дело ликвидировать, но так, чтобы почин исходил от самой эмиграции. Очень нужное дело, хорошее. И привлечь хотят людей самых лучших...

Все эти тягостные открытия действовали на меня уг-

нетающе. Я все более понимал, что наши пути расходятся. Возникла душевная потребность покинуть Сорренто. Но поступить резко мне не хотелось: я должен сказать, что ко мне лично Горький всегда относился очень хорошо, и за его бескорыстную, порой очень теплую дружбу чувствовал признательность, о которой забыть не могу и теперь. Поэтому я уехал только в апреле месяце, ссылаясь на личные обстоятельства, что, впрочем, было и правдой. Но покидая Сорренто, я уже как-то не видел будущей своей встречи с Горьким. Так и случилось.

Я приехал в Париж, а месяца через два появилась прославленная статья Пешехонова, положившая начало «засыпанию рвов» и всему так называемому «движению возвращения».

\* \* \*

Мой приезд в Париж по времени совпал с выходом последнего, шестого номера «Беседы». По этому поводу Горький писал мне: «Беседа» — кончилась. Очень жалко... По вопросу — огромной важности вопросу! — о том, пущать или не пущать «Беседу» на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: «не пущать, тогда Горький воротится домой». А он и не воротился! Он тоже упрямый!».

Я хорошо знал Горького и его обстоятельства. Для меня было несомненно, что он действительно не поедет в Россию — по крайней мере вплоть до того дня, пока не уедет от него Мара. Но не менее было ясно и то, что после властного и твердого запрещения «Беседы» Горький начнет размякать и под давлением Мары и Екатерины Павловны, пойдет на сближение с начальством. Поэтому я не без горечи указал ему в ответном письме, что меня удивляет, каким образом год тому назад его известили о допущении «Беседы», а теперь оказывается, что тогда вопрос еще и не обсуждался. На это Горький мне возразил: «Разрешение на «Беседу» было дано, и книги в России допускались, — писал он. — Затем разрешение было опротестовано и аннули-

ровано». Это была ложь, на которую Алексей Максимович отважился, полагая, будто мне неизвестно, что книги в Россию не допускались никогда.

Между тем, мои предположения оказались верны. Запретив «Беседу», в Москве решили, что нужно чем-нибудь Горького и приманить, а он на эту приманку тотчас пошел. После почти двухмесячного молчания он писал мне 20 июля: «Ионов ведет со мной переговоры об издании журнала типа «Беседы» или о возобновлении «Беседы». Весь материал заготавливается здесь, печатается — в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов пока не ставит». Это было уже чистейшее лицемерие. Я ответил Горькому, что журнал *типа* «Беседы» в России нельзя издавать, потому что «типическая» черта «Беседы» в том и заключалась, что журнал издавался за границей и что «ограничительные условия» уже налицо, ибо наша «Беседа» издавалась вне советской цензуры, а петербургская автоматически попадет под цензуру. Все это Горький, конечно, знал и без меня, но, по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть, потому что хотелось пойти на сближение с советской властью.

Помимо соображений о цензуре, я напомнил Горькому еще об одном весьма важном обстоятельстве. Надо знать, что весной 1924 г. нескольким писателям удалось получить разрешение на издание журнала «Русский современник» — последнего, действительно независимого журнала в России. Довольно сказать, что первый номер открывался стихами Сологуба и Ахматовой и рассказом Замятина. Сотрудничали в нем и мы с Алексеем Максимовичем, причем было указано, что журнал выходит при ближайшем участии Горького, Евг. Замятина, А.Н.Тихонова и К.Чуковского. В конце 1924 г., по выходе четвертой книжки, «Русский современник» был закрыт, а Тихонов, главный редактор и личный друг Горького, арестован. Когда я уезжал из Сорренто, Тихонов, несмотря на все интервенции Горького, все еще не был освобожден, причем Горький мне говорил, что «Рус-

ский современник» — только придирка, на самом же деле Зиновьев держит Тихонова в тюрьме по другой причине: предполагает, что у Тихонова где-то спрятаны письма Ленина к Горькому, и хочет эти письма из Тихонова «выжать». Учитывая все это, я написал Горькому, что, как ближайший сотрудник «Русского современника», он не имеет права вступать с советской властью ни в какие переговоры о журнале, пока не будет вновь разрешен «Русской современник» и не будет выпущен из тюрьмы Тихонов. Велико было мое изумление, когда, недели через две, пришел от Горького такой ответ: «Беседа», кажется, будет журналом, посвященным вопросам современной науки, современного искусства, без стихов, без беллетристики. Печататься в России будет потому, что это значительно дешевле. Еще дешевле было бы печатать в Италии, но здесь нет русских типографий. Беллетристика, стихи найдут себе место в «Русском современнике», который возобновляется при старой редакции. В этом году выйдут лишь две книжки, увеличенного размера, как я понял, а с начала 26-го будет выходить 12 книг. Тихонов «восстановлен во всех правах», приговор отменен... Сейчас поехал в Крым отдыхать».

Я до сих пор не знаю, был ли к этому времени Тихонов освобожден и ездил ли в Крым. Возможно, что так и было. Но я ни секунды не сомневался, что все, написанное в будущем времени, — ложь, придуманная для того, чтобы парировать мои возражения, а главное — чтобы самого себя тешить жалкой иллюзией, будто моральных препятствий к переговорам о новом журнале не имеется. Я тогда же угадал, что «Русский современник» не разрешен и никогда разрешен не будет и что Горькому это известно не хуже, чем мне. Мало того: я не сомневался, что и никакой новой «Беседы» не будет: не будут ее печатать даже и в Петербурге, где так «дешева работа», — а просто заставят Горького печататься в «Красной нови» и в других казенных журналах, — и что он сам уже к этому готов. Он явно шел с властью на похабный мир, заключаемый по программе Мары: пока можно тянуть — жить за границей, а средства

для жизни получать из России. Я понял и то, что дальнейшая полемика сведется к тому, что Алексей Максимович будет мне лгать, а я его буду уличать во лжи. Но эта работа мне давно уже была тяжела. Пора было ее бросить. Прострадав несколько дней, я решил не отвечать Горькому вовсе, никогда. На том кончились наши отношения. Замечательно, что, не получая от меня ответа, Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я все понял. Возможно и то, что моя близость в новых обстоятельствах становилась для него неудобна.

На этом мои воспоминания кончаются. О дальнейшем я знаю лишь то, что известно всем. Дипломатические сношения Горького с советским правительством восстановились в то же лето: Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев, затем Горький принял у себя экскурсантов-ударников — и возобновил сотрудничество в советских изданиях. В 1926 году он написал знаменитое письмо о смерти Дзержинского, особенно подчеркнув, что вместе с ним скорбит и Екатерина Павловна. В 1928 году, когда совершилось окончательное падение Зиновьева, оказалась возможна поездка в Москву, куда через год пришлось и вовсе переселиться. Переселение сопровождалось сближением с Ягодой, поездкой на Соловки и на Беломорский канал — и т.д. Все это уже выходит за пределы моей задачи. Но, не вдаваясь в область исследования и оставаясь мемуаристом, я все же считаю себя вправе прибавить несколько слов, выражающих мое личное мнение о внутренних причинах горьковских колебаний в отношении к советскому правительству.

Каковы бы ни были поводы горьковского отъезда из России в 1921 году, основная причина была все-таки та же, что и у многих из нас. Он себе представлял революцию свободонесущей и гуманной. Большевики придали ей вовсе иные черты. Сознав свое бессилие что-либо изменить в этом, он уехал и был близок к тому, чтобы порвать с советским правительством вовсе, — но лишь так близок, как бывает близок к самоубийству человек, который держит револьвер у

виска, зная все-таки, что никогда не выстрелит. Несомненно, что Мара, Е. П. Пешкова и другие лица, о которых я здесь для краткости не упоминал, немало содействовали примирению. Но оно совершилось бы и без того. Причины лежали в самом Горьком. Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и одним из наименее стойких. Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых по примитивности своего мышления он никогда не умел отличить от самой обыкновенной, часто вульгарной, лжи, он некогда усвоил себе свой собственный «идеальный», отчасти подлинный, отчасти воображаемый образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какую он ее создал своим воображением, — мысль о возможной утрате этого образа, о «порче биографии», была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома — все это было нужно его окружающим. Ему самому нужно было другое. Он в конце концов продался, — но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что какова бы ни была тамошняя революция — она одна могла обеспечить ему славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти — нишу в кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошел. Можно было бы долго перечислять, на что он еще пошел. Коротко сказать — он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради которого помирился с советской властью. Сознавал ли он весь трагизм этого — не решаюсь сказать. Вероятно — и да, и нет, и вероятно — поскольку сознавал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые в конце концов его погубили.



## ФОНД 100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

В связи с предстоящим выходом 100 номера журнала «Время и мы» и в целях его дальнейшего развития принято решение основать ФОНД 100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ».

Журнал «Время и мы» был создан в Израиле в 1975 году и за истекшие 13 лет стал одним из самых авторитетных и популярных русских изданий на Западе. За эти годы в общей сложности было выпущено и разошлось по миру более 150 тысяч экземпляров журнала, из них десятки тысяч ушли по разным каналам в СССР, находя там все новых благодарных читателей.

По всеобщему мнению, «Время и мы» сегодня не только лучший журнал нашей эмиграции — в свободном мире его знает и ценит каждый, кому дорог русский язык и русская литература. Не случайно выход сотого номера наши читатели рассматривают как важное событие в культурной жизни эмиграции. Многие из них пишут в редакцию, выражая ей признательность и свою глубокую поддержку свободной и независимой линии журнала.

Редакция отдает себе отчет в том, что «Время и мы», являясь независимым и беспартийным изданием, смог выдержать испытание временем только благодаря поддержке читателей. Мы гордимся этой поддержкой и считаем, что сам по себе выход 100 номера — лучшее свидетельство высокой культуры нашей эмиграции, ее неослабевающего интереса к литературе, ее стремления противостоять потребительским инстинктам, которые все более поражают сферу духовную.

**Но выпустив 100 номеров, редакция считает необходимым со всей откровенностью заявить, что финансовое положение журнала и после 13 лет его существования остается тяжелым. И по сей день каждый его номер создается ценой невероятных усилий, путем огромных за-**

трат средств и интеллектуальной энергии.

При этом состав редакции становится настолько узок, что вообще возникает сомнение в возможности ее нормального функционирования и дальнейшего выпуска журнала. **Вот почему сегодня, как никогда, нам необходима финансовая поддержка наших читателей и друзей, основанная на глубоком понимании дела, которому мы отдаем все силы.**

Содействие журналу редакция рассматривает как важное общественное дело. Поэтому все, кто внесет средства в ФОНД 100 НОМЕРА, будут отмечены на его страницах. Те, кто наиболее активно поддержит журнал, войдут в состав его почетной редколлегии, список которой будет публиковаться в каждом номере. Об этих людях мы будем постоянно рассказывать нашим читателям, публиковать их фотографии, широко рекламировать их бизнесы на журнальных страницах.

Отчеты о расходовании средств, поступивших в ФОНД 100 НОМЕРА, будут ежегодно публиковаться для всеобщего сведения.

По договоренности с Координационным центром американских литературных журналов (Coordinating Council of Literary Magazines — CCLM) чеки необходимо выписывать на имя этой организации, с указанием в нижней части чека: «Для поддержки журнала «Время и мы», и высылать в адрес редакции ("Time and We", 409 Highwood Ave., Leonia, New Jersey 07605, USA).

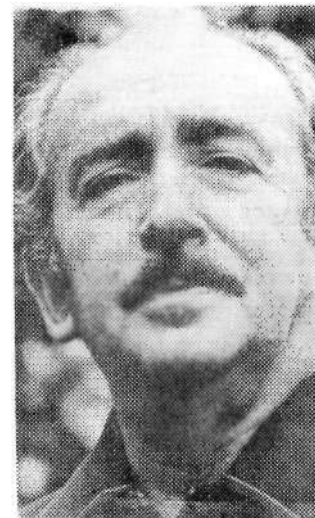
**В соответствии с уставом CCLM, все внесенные в ФОНД средства подлежат списанию с налогов.**

## ИСТОРИЯ ЭТОГО ЭССЕ

Было это в Мюнхене, в конце мая или, может быть, в июне 1975 года. Мы возвращались с Александром Галичем с одного из студенческих митингов и на Мариен-плац обратили внимание на толпу, обступившую уличного музыканта. Приблизившись, мы услышали, как парень объявил, что исполнит сейчас песни известного русского барда Александра Вертинского. И затем на вполне приличном русском языке, действительно, спел «Чужие города», «Пани Ирэну», «Танцовщицу» и еще что-то. Мы пригласили парня в ресторан, он рассказал, что учится в одном из университетов Мюнхена, а песни Вертинского слышал с детства, от деда, бывшего русского офицера, прожившего большую часть жизни в Югославии. И вот теперь, в память деда, он каждое свое выступление заканчивает этими песнями. Галич тоже стал вспоминать о своих встречах с Вертинским и сказал, что хотел бы издать сборник его избранных песен — стихи и ноты вместе, ибо считает себя во многом обязанным Вертинскому. А поскольку я собираюсь приступить к издательской деятельности, то почему бы мне не начать именно с этого сборника. Я со своей стороны предложил включить в сборник мемуары Вертинского «Четверть века без родины», хоть и изданные в журнале «Москва», но в ужасно искореженном виде.

Вскоре Галич уехал в Париж, а я в Нью-Йорк. И вот, совершенно неожиданно, в конце ноября 1977 года получаю от Галича, из Парижа, пакет, в котором и находилась рукопись, предлагаемая мною читателю. Я даже не успел ответить Галичу: очень скоро из Парижа пришла трагическая весть о его гибели. И вот теперь, десять лет спустя, эссе Галича об Александре Вертинском возвращается читателям.

Григорий ПОЛЯК



Александр ГАЛИЧ

## ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН

Началось все неожиданным утренним звонком тридцать уже с лишком лет тому назад.\* Мне позвонил мой приятель и каким-то странным, слегка насмешливым голосом сказал: «Слушай, у меня есть свободный билет. Ты не хотел бы пойти сегодня вечером в Дом кино, на концерт Александра Вертинского?» Я тоже чуть-чуть хмыкнул, сказал — на чей концерт? Он ответил: «На Вертинского. Ты же знаешь, он приехал, он в Москве». Я действительно слышал, что Вертинский приехал в Москву, и мне даже говорили, что где-то в очень узком кругу, для актеров Художественного театра, он пел, но что он будет выступать публично и то, что я смогу его услышать, казалось мне совершенно невероятным. И вот я пошел на концерт Вертинского. Он должен был выступать в Доме кино, в старом Доме кино, который помещался у площади Восстания, там, где теперь Театр киноактера.

\*Написано в 1977 году. © издательства «Серебряный век».

Сама обстановка в фойе и в зале была довольно странная. Люди ходили немножко с недоверчивыми улыбками, переглядывались, говорили: «Ну-ну, неужели же это правда?»

Я хотел бы, чтобы это представили те из вас, которые родились в годы войны или после войны и которые не знают, почему так мы странно отнеслись к сообщению о том, что приехал Вертинский.

Долгие годы Александр Вертинский был не то чтобы под запретом, а был человеком из какой-то другой, фантастической жизни. Он эмигрировал в двадцатые годы, и иногда до нас случайно доходили какие-то его пластинки, стертые-престертые.

Мы слушали их, едва разбирая слова... И то, что вот он, легендарный Вертинский, о котором нам рассказывали наши матери, — то, что он сегодня, сейчас выступит и мы его увидим, казалось нам совершенно невероятным. Уже здесь, в кулуарах, рассказывали такую шутку-анекдот, полуанекдот, может быть, это и было правдой, что граф Алексей Николаевич Толстой, пролетарский писатель, устроил в честь приезда Александра Николаевича Вертинского прием. Гостей почему-то долго томили в гостиной, не звали к столу, что-то не было готово у хозяек, и тут один из гостей, поглядевший на собравшееся общество: граф Алексей Николаевич Толстой, граф Игнатъев, митрополит Николай Крутицкий, Александр Николаевич Вертинский, — спросил: «Кого еще ждем?» — грубый голос остроумца Смирнова-Сокольского ответил: «Государя!»

И вот, мы пришли в зал. Сцена была пуста, открыт занавес, стоял рояль, а потом на сцену, без всякого предупреждения вышел высокий человек в сизом фраке, с каким-то чрезвычайно невыразительным, стертым лицом, с лицом, на котором как бы не было вовсе глаз, с такими белесовато седыми волосами; за ним просеменил маленький аккомпаниатор, сел к роялю. Человек вышел вперед, и без всякого объявления, внятно, хотя и не громко, сказал «В степи

молдаванской». Пианист сыграл вступление, и этот человек со стертым, невыразительным лицом произнес первые строчки:

**Тихо тянутся сонные дроги  
И вздыхая бредут под откос...**

И мы увидели великого мастера с удивительно прекрасным лицом, сияющими лукавыми глазами, с такой выразительной пластикой рук и движений, которая дается годами большой работы и которая дарится людям большим их талантом. Можно по-разному оценивать творчество Александра Николаевича Вертинского, но то, что он оставил заметный след в жизни не одного, а нескольких поколений русских людей и в Советском Союзе, и за рубежом, — это вне всякого сомнения. Песни его, казалось бы, никак не соприкасающиеся с жизнью, такие, как «Я знаю Джим», «Лило-вый негр вам подает мантию», «Прощальный ужин», — казалось бы, что они там, в Советском Союзе? Что значили для нас эти песни, какое отношение имели к нашей жизни? Я помню стихи Смелякова: «Гражданин Вертинский вертится спокойно, девочки танцуют английский фокстрот; я не понимаю, что это такое, как это такое за душу берет...».

Но он врал, Ярослав Смеляков. Он-то понимал, почему это брало за душу, почему в этой лирической, салонной пронзительности было для нас такое новое ощущение свободы.

Потом, после этого концерта, года два или три спустя, мне довелось познакомиться с Александром Николаевичем Вертинским. Мы даже жили с ним рядом в соседних номерах, в гостинице «Европейская», в Ленинграде месяца полтора. Я работал тогда на киностудии «Ленфильм», делал сценарий, а у Вертинского были концерты. Он выступал в саду «Аквариум». И вот, по вечерам, после концерта, он входил со своим стаканом чая. Он неизменно носил свой стакан чая с лимоном, садился и говорил мне: «Ну, давайте. Читайте стихи». Я читал ему Мандельштама, Пастер-

нака, Заболоцкого, Сельвинского, Ахматову, Хармса. Читал совсем ему уже не известных даже по именам Бориса Корнилова и Павла Васильева, читал все то, что он, долгие годы оторванный от России, не мог знать. Он был не только исполнителем, не только замечательным мастером, он был поразительным слушателем. Сам — актер, певец, поэт, он умел слушать, особенно умел слушать стихи. И вкус у него на стихи был безошибочный. Он мог сфальшивить сам, мог иногда поставить неудачную строчку, мог даже неудачно (если ему было удобней) изменить строчку поэта, на стихи которого писал песню, — но чувствовал он стихи безошибочно. И когда я прочел ему в первый раз стихотворение Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», он заплакал, а потом сказал мне: «Запишите мне, пожалуйста. Запишите мне».

У меня с ним был еще один забавный вечер. Мы решили не сидеть в номере, а пойти поужинать в «Европейскую». Летом ресторан работает на крыше, и туда ходят с удовольствием ленинградцы. Я не знаю, как сейчас, но в мое время, — я уже говорю, в мое время, как говорят старики, — так вот, в мое время это было довольно любимым местом ленинградцев. И вот мы пошли с Александром Николаевичем поужинать. Мы сидели вдвоем за столиком, и вдруг к нам подбежала какая-то необыкновенно восторженная, сильно в годах уже дама, сказала: «Боже мой, Александр Николаевич Вертинский!» Он встал, я, естественно, встал следом за ним (он был человеком чрезвычайно воспитанным и галантным) и сказал: «Ради Бога, прошу вас, садитесь к нам», она сказала: «Нет, нет, там у нас большая компания, просто я увидела вас. Я была, конечно, на вашем концерте, но я не рискнула зайти к вам за кулисы, а здесь я воспользовалась таким радостным случаем и просто хотела сказать вам, как мы счастливы, что вы вернулись на родину».

Александр Николаевич повторил: «Прошу вас, посидите с нами, хотя бы несколько минут». Она сказала: «Нет, нет, я очень тороплюсь. Я просто хочу, чтоб вы знали, каким

счастьем было для нас, когда мы получали пластинки с вашими песнями, с вашими или песнями Лещенко...» Вдруг я увидел, как лицо Александра Николаевича окаменело. Он сказал: «Простите, я не понял вторую фамилию, которую вы только что назвали». Дама повторила: «Лещенко».

«Простите, но я не знаю такого. Среди моих друзей в эмиграции были Бунин, Шаляпин, Рахманинов, Дягилев, Стравинский. У меня не было такого ни знакомого, ни друга по фамилии Лещенко».

Дама отошла. Александр Николаевич был человеком с юмором, но иногда он его терял, когда его творчество воспринималось, как творчество ресторанное — под водочку, под селедочку, под растегайчик, под пьяные слезы и тоску по родине. Он считал, что делает дело куда как более важное, и думаю, что он был прав.

#### *Памяти Александра Николаевича Вертинского*

**И вновь эти вечные трое  
Играют в преступную страсть,  
И вновь эти греки из Трои  
Стремятся Елену украсть,**

**А сердце сжимается больно,  
Виски малярийно мокры,  
От этой игры треугольной,  
Безвыигрышной этой игры.**

**Развей мою смуту жалейкой,  
Где скрыты лады под корой,  
И спой, как под старой шинелью  
Лежал сероглазый король.**

**В беспамятстве дедовских кресел  
Глаза я закрою, и вот  
Из рыжей Бразилии крейсер  
В кисейную гавань плывет.**

**А гавань созвездие множит,  
А тучи, а тучи грядой,  
Но век не вмешаться не может,  
А норв у века крутой.**

Он судьбы смешает, как фанты,  
Ему ералаш по душе  
И вот он враля-лейтенанта  
Назначил морским атташе.

На карте истории Некто  
Возникнет подобный мазку,  
И правду лилового негра  
За займом придет в Москву.

И все ему даст непременно  
Тот Некто, который никто  
Ни тихая пани Ирэна  
Наденет на негра пальто.

И так этот мир разутюжен,  
Что черта ли нам на рожон,  
Нам нужен прощальный не ужин,  
А сто пятьдесят под «Боржом».

А трое, ну, что же, что трое  
Им равное право дано,  
А Троя разрушена. Троя,  
И это известно давно.

Все предано праху и тлену,  
Ни дат не осталось, ни вех,  
А нашу Елену, Елену  
Не греки украли, а век.

---

**Виктор ПЕРЕЛЬМАН**

**ТЕАТР АБСУРДА**  
**Комедийно-философское повествование о**  
**моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров**

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль;  
Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-  
Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт;  
Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно  
бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

Инженер Сэм Житницкий: "Оплот Израиля"; Мы жили...  
Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал;  
Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука —  
жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша  
эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака  
плывут, облака

*Книгу можно заказать в редакции "Время и мы":*

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE**  
**LEONIA, NJ 07605, USA**  
Tel.: (201)592-6155

Цена книги 10 долларов.  
В книге 254 стр.

---



## ГОБЕЛЕНЫ РИТЫ ГЕХТ

Кого в наши дни удивишь рассказом о бывшем филологе, ставшем в Америке успешным программистом? Все тотчас наперебой начнут вспоминать своих друзей и родственников, которые из категории «неудачников» (искусствоведов, редакторов, музыкантов, художников) примкнули к стройной колонне уверенно глядящих в будущее профессионалов. Но попробуйте найти пример обратно-го превращения! Уверяю вас, наступит томительная пауза.

Чтобы ее заполнить, мне и хочется рассказать одну мало правдоподобную историю.

Рита Гехт приехала в Нью-Йорк семнадцатилетней девочкой, только что закончившей киевскую среднюю школу. Как и полагалось ребенку из приличной семьи, поступила в Нью-йоркский университет, на отделение компьютеров, благополучно его закончила, получила диплом и место в фирме IBM. Проработала там год. И... тут-то и начинается фантастическая часть этой истории. Впрочем, предоставим слово самой Рите Гехт: «Еще в университете я взяла два курса для души: «Вступление в историю искусства» и «Искусство текстиля». Мне просто хотелось попробовать себя в разных областях, и я записалась в студенческую художественную лигу, где в течение двух лет занималась рисунком и изучала технику художественной печати». Однажды преподаватель-

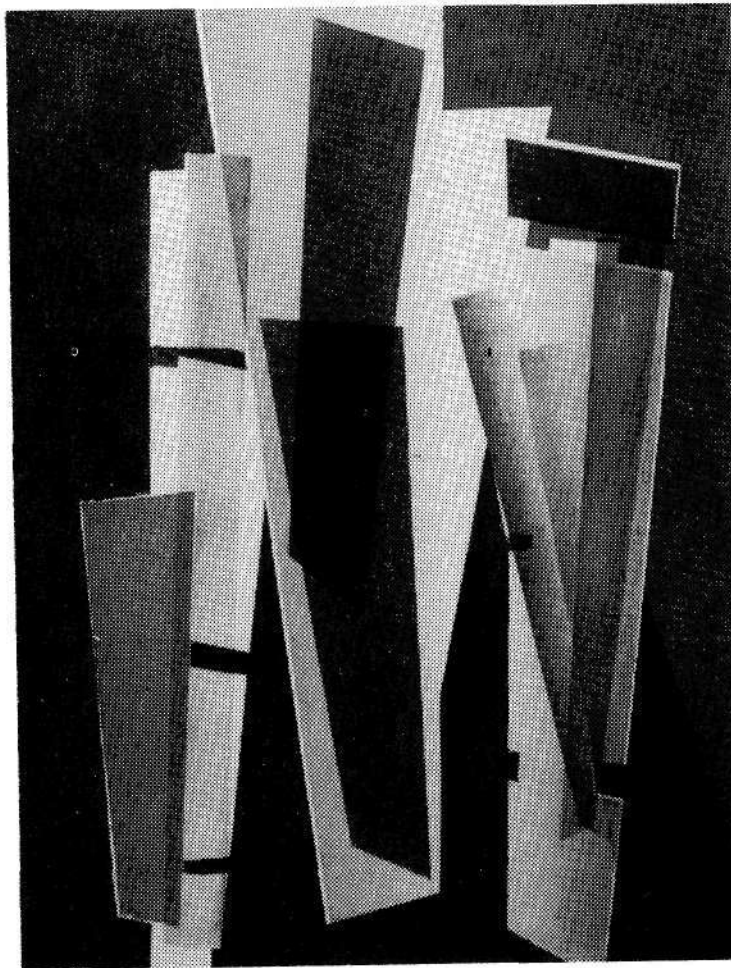
ница, читавшая в Нью-йоркском университете курс «Искусство текстиля», пригласила Риту к себе в мастерскую, где изготовляла гобелены. «С этого дня, — продолжает свой рассказ Рита, — я просто не могла представить, что всю жизнь проведу за экраном компьютера. Тогда и пришла мысль бросить все и поступить в школу дизайна Парсонса, на текстильное отделение.»

Меня интересует, почему ее выбор пал именно на искусство гобелена. «Мне нравится строить композицию снизу вверх, подобно тому, как возводятся дома. Рисунок или холст можно начать в любом месте, а гобелен начинается с «фундамента» и строится в строго определенной последовательности».

Жителю Нью-Йорка трудно представить, что можно найти красивого, например, в пожарных лестницах, уродующих фасады множества зданий. Но тем и отличается глаз художника, что он умеет заметить прекрасное там, где оно скрыто от нас, простых смертных. Рита Гехт часто начинает с фотографий фасадов нью-йоркских домов. Затем воображение художницы трансформирует их в фантастические конструкции каких-то городов будущего, которым мог бы позавидовать даже Лев Нусберг.

Художница еще очень молода. Но на ее счету уже 60 мастерски выполненных гобеленов, она участница нескольких групповых выставок, она была даже менеджером одной из самых престижных гобеленовых мастерских Нью-Йорка. И все же это только начало пути, однако, начало, в котором нетрудно разглядеть первые шаги мастера.

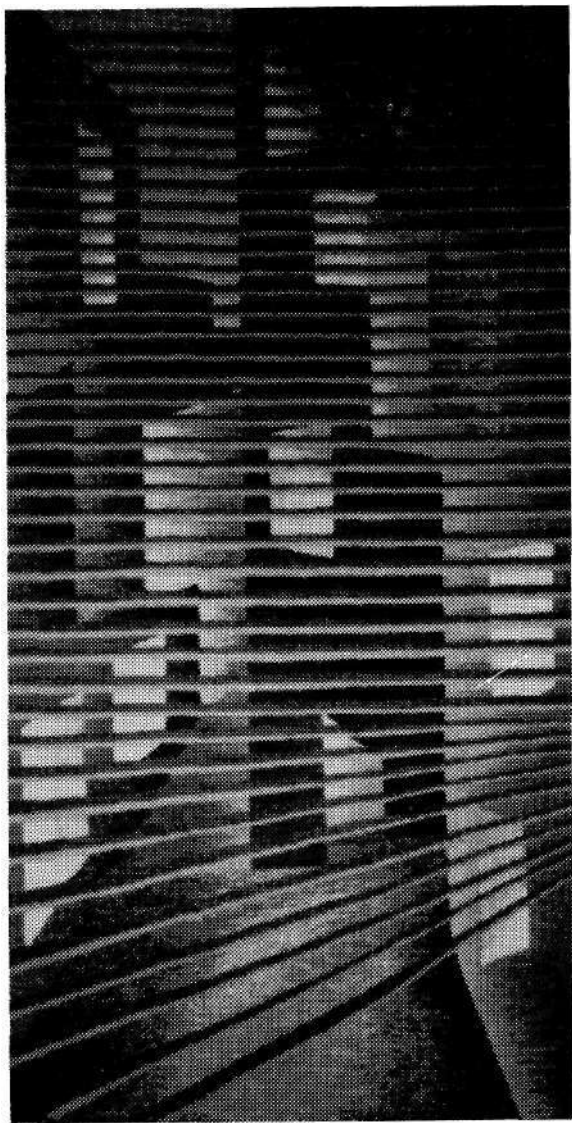
Александр ЩЕДРИНСКИЙ



Ночные огни. 1985. Офорт на картоне.



Голубая прелюдия. 1983. Гобелен.

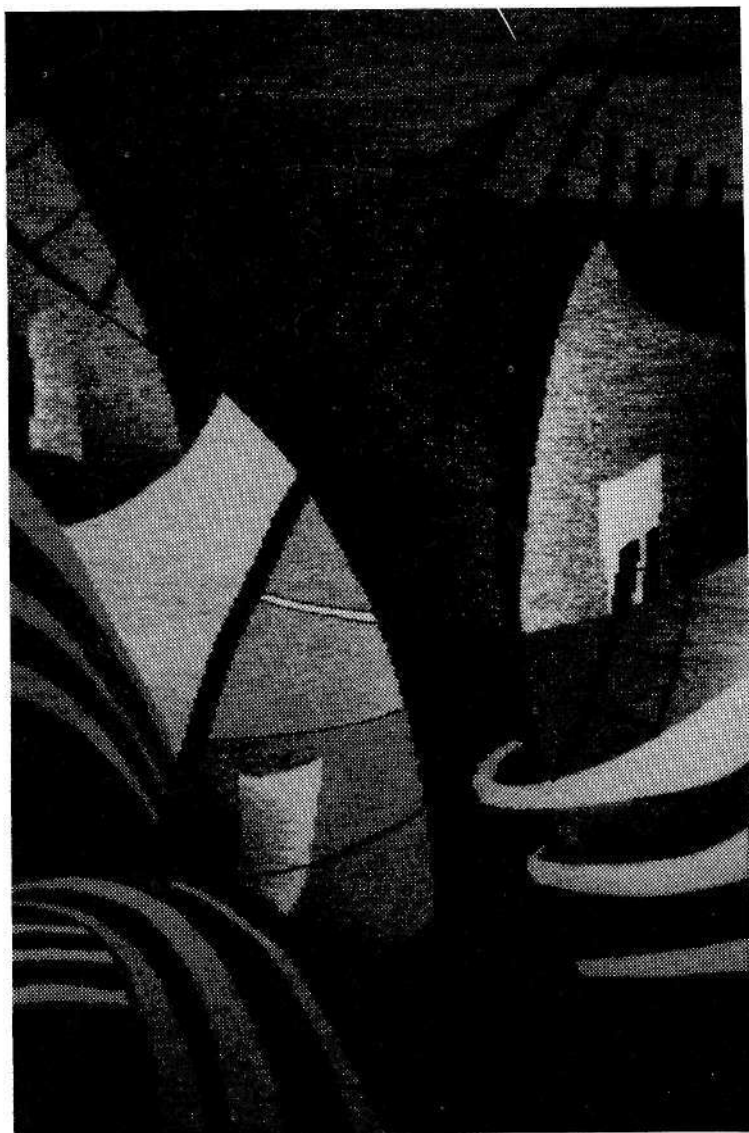


Ночь сквозь жалюзи. 1987. Гобелен.

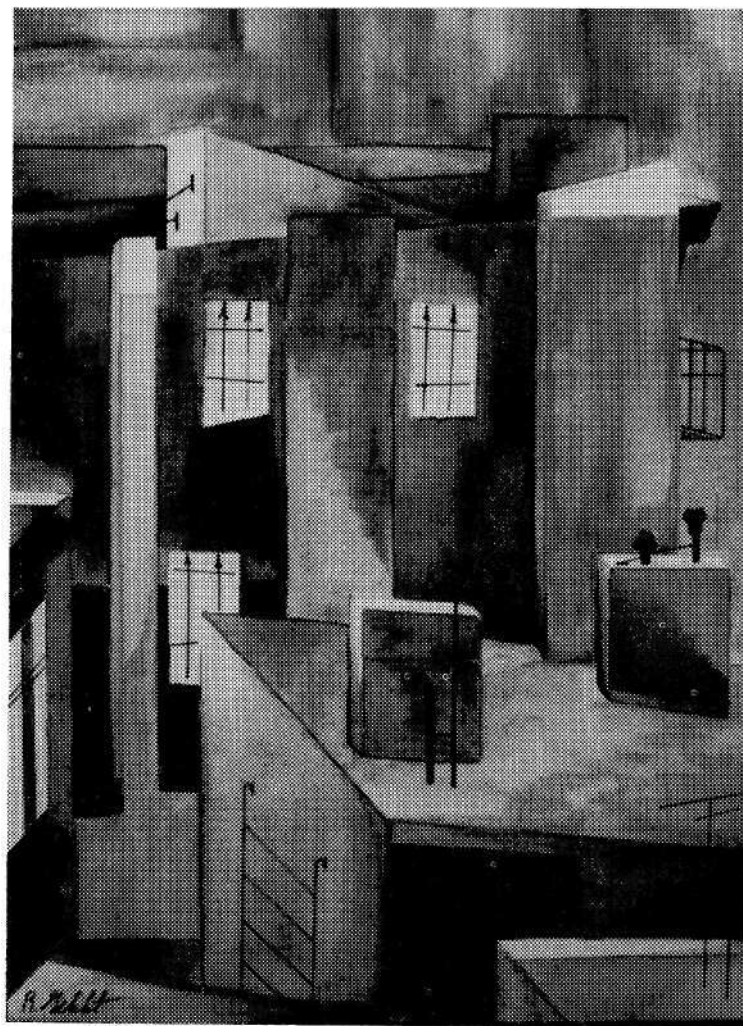


Воспоминания о Греции. 1986. Гобелен.





Настроение. 1987. Гобелен.



Вид из окна. 1984. Акварель.

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**ПАВЕЛ КОПП** — см. предисловие к «Воспоминаниям Бойцового Петуха».

**ПЕТР МЕЖИРИЦКИЙ** — родился в Киеве, в 1934 году. В 1957 году окончил Львовский политехнический институт и работал на ряде предприятий Львова. Писать начал в 1961 году, печататься — в 1965. В СССР опубликованы повести: «Десятая доля пути», «Один рабочий день», романы «В поле напряжения» и «Вызов», документальная повесть «Товарищ майор» и несколько рассказов в журналах «Дружба народов», «Неделя», «Кругозор». Эмигрировал в 1979 году в США, живет в Филадельфии и работает инженером.

**АЛЬБЕРТ ЛЕИН** — эмигрировал из СССР. Живет в Западном Берлине. Первая подборка стихов была напечатана в 92 номере журнала «Время и мы».

**АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН** — родился в 1927 году в Изяславле (Украина). В 1946 году окончил Московский экономический институт. В 1966 году стал доктором наук. Работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, преподавал на экономическом факультете МГУ. В 1973 году эмигрировал в США, где получил профессуру в Пенсильванском университете. Автор десяти книг и более сотни статей по различным проблемам экономики, политики и теории систем.

**ЛЕВ НАВРОЗОВ** — родился в Москве. С 14 лет был в СССР подпольным писателем. Чтобы не быть сосланным в качестве тунеядца, «внештатно переводил» на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Фазила Искандера, Андрея Битова. После первой и последней попытки напечатать свою книгу «Стаканчики граненые» в короткой просвет «Пражской весны» 1968 года, Наврозов стал писать по-английски и, приехав в 1972 году в США, издал первую из своих семи книг, имеющих общее название «Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией». Отрывки из этой книги публиковались в журнале «Время и мы», там же были напечатаны эссе и статьи Наврозова «Что знает западная разведка о России», «Посредственность и спасение Запада» и др. В настоящее время Лев Наврозов работает постоянным обозревателем газеты «Нью-Йорк Сити Трибюн». Свыше 20 его статей вошли как официальные материалы в протоколы Конгресса, а многие из его эссе и статей перепечатываются Пентагоном для служебного пользования.

**ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ** — родился в 1926 году. Окончил Киевский университет в 1949 году и Московский статистический институт в 1950 году. Работал в Новосибирском университете, а затем в институте социологических исследований в Москве. Эмигрировал в мае 1979 года. В настоящее время — профессор Мичиганского университета. Автор многих книг в области социологии. Постоянно выступает в американских газетах и журналах, а также по телевидению.

**ЕЛЕНА ГЕССЕН** — окончила институт иностранных языков. Работала в Московской информационной библиотеке. Переводчик и публицист. Эмигрировала в США в 1980 году. В настоящее время живет в Бостоне. Систематически печатается в русских зарубежных газетах и журналах.

**ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ** — выдающийся русский поэт, критик и переводчик. Родился в 1886 году. Начал печататься с 1905 года. В 1922 году Ходасевич навсегда покинул Советскую Россию. Автор многих книг, в том числе книги воспоминаний «Некрополь» — одного из лучших образцов мемуарной литературы.

**АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ** — выдающийся русский поэт, драматург. Родился в Москве в 1919 году. Окончил студию Станиславского, во время войны работал во фронтовом театре. С 1945 года становится профессиональным драматургом. В СССР были поставлены десять пьес Галича. Начиная с шестидесятых годов его истинным призванием становится поэзия, особенно стихи-песни, разошедшиеся в магнитофонных записях по всему миру. В 1971 году Галич был исключен из всех творческих союзов и вынужден эмигрировать на Запад. Трагически погиб в Париже, в декабре 1977 года. В журнале «Время и мы» была опубликована повесть «Блошиный рынок» (№ 24), последнее произведение, написанное Галичем незадолго до смерти.

### Summary for the 99th issue of "Vremya i My" ("Time and We")

PAVEL KOPP, "Memoirs of a Fighting Rooster". The author is one of the oldest representatives of Russian intelligentsia, living in Odessa. He paints a talented picture of provincial Russia at the start of the century, describing the lifestyles and morals in the years prior to the revolution.

PYOTR MEZHIRITSKY, "The Fall of Kreschatik". A chapter from the novel "Nostalgia for London". The author speaks of the cruel and inhumane morals flourishing in Stalin's Russia, he describes how the grimaces of the totalitarian regime reflected on the formation of the post-war generation of youth in the U.S.S.R.

ARON KATSENELINBOYGEN, "Gorbachev's Paradox, or How to Help Him Enter Into History". The author, a professor at the University of Pennsylvania, feels that in the contemporary Soviet Union, Russian nationalism and chauvinism are rapidly developing. In order to maintain the liberal course of the U.S.S.R., the West faces the need to support Gorbachev, primarily by actively developing trade with the U.S.S.R.

LEV NAVROZOV, "The West Is Heading Directly Towards Destruction". The author argues that the Soviet empire is ruled by the KGB with Gorbachev as its cheer puppet. He also contends that Soviet INF missiles are either "dummy" or concealed.

VICTOR PERELMAN, "An Essay About Vocal Russia, or The Perestroika as a Poetical Metaphor". The Soviet society as described in the journal "Ogonyok". Based on the materials contained in one issue of the journal "Ogonyok", the author illustrates how the policies of glasnost proclaimed by Gorbachev have led to a split in Soviet society.

VLADIMIR SHLYAPENTOKH, "Executioners and Victims". Stalin's purges and the Catastrophe of European Jews: the similarities and differences.

YELENA GESSEN, The thick magazines in glasnost times. "Battles of "Nash Sovremennik".

VLADISLAV KHODASEVICH, "Gorky Abroad". Memoirs of the outstanding Russian emigre poet and critic.

ALEKSANDRGALICH, "Farewell Dinner". Memoirs of outstanding Russian emigre poet about the remarkable Russian actor Aleksandr Vertinsky.

## ТАМАРА МАЙСКАЯ «КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

*«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала»* ("А. Андреев «Новое русское слово»).

*«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы»* (Майкл Эндрюс, д-р наук, проф. русского языка и литературы).

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

**Tamara Mayskaya**  
11501 Mayfield Rd., No. 306  
Cleveland, OH 44106, USA

## НОВЫЕ КНИГИ ОРИ

Виктор Суворов  
АКВАРИУМ

*«Каждый знает, какой стране принадлежит самая мощная в мире секретная служба. Конечно, Советскому Союзу. И эта служба именуется КГБ. А какой стране принадлежит вторая по величине и мощи тайная служба? На этот вопрос мы отвечаем так же: Советскому Союзу. И эта служба именуется ГРУ»* Аквариум — здание ГРУ на жаргоне его сотрудников

366 стр.

9.50 ф.ст.

Илья Земцов и Джон Фаррар  
ГОРБАЧЕВ:  
ЧЕЛОВЕК И СИСТЕМА

Семьдесят лет после Октября

*«Исследование личности Горбачева дает нам возможность понять советское общество не только в канун семидесятилетия его революции, но и на многие годы после него. Без ортодоксальной коммунизма Горбачев, возможно, обойдется. Вопрос, однако, в том — обойдется ли он без тоталитаризма»* (из Пролога).

320 стр.

9.50 ф.ст.

Жак Росси  
СПРАВОЧНИК ПО ГУЛАГУ

Исторический словарь советских пенитенциарных институций и терминов, связанных с принудительным трудом.

Предисловие Алена Безансона.

*«В литературе о ГУЛаге труд Жака Росси, - читаем в предисловии, - занимает оригинальное место. В сухой и безличной форме приведено больше проверенной и классифицированной информации, чем та, которой мы располагали доселе. И тот, кто углубится в эту книгу, ужаснется, будет столь же потрясен, как при чтении искусно написанного повествования»*

546

стр

13.50 ф.ст.

Борис Винокур  
ТАЙНА КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН

*Политический детектив, раньше издан с большим успехом в переводе на английский язык.*

240 стр.

9 ф.ст.

Книги можно заказывать в издательстве OPI (Overseas Publications Interchange Ltd. — 8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU. England), в книжном деле A. Neimanis (Bauerstr. 28, D-8000, Munchen 40 West Germany) и во всех русских книжных магазинах.

# ALMANAC PANORAMA

# панорама

## The largest independent American Russian publication

крупнейшее независимое еженедельное издание  
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. Половец

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ:

**ГЛОБУС.** Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

**ПУБЛИЦИСТИКА.** В числе постоянных авторов газеты — обозреватель телевизионных программ АВС, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман /Лос-Анджелес/, П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин /Нью-Йорк/, М. Лемхин /Сан-Франциско/, Д. Савицкий /"Европейская хроника"/, В. Лазарис, Ю. Шаргородский, З. Копелиович /Израиль/.

**ЛИТЕРАТУРА.** В "Панораме" впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах

**ГОЛЛИВУД.** Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинемире США и других стран.

**ЮМОР.** В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

"Панорама" имеет постоянные представительства  
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Стоимости годовой подписки в США и Канаде — 33.00, полугодовой — 18.00 дол.  
Для оформления подписки необходимо заполнить приводимый ниже купон и  
выслать его в адрес издательства "Альманах";

ALMANAC, P O Box 480264. Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету "Альманах - ПАНОРАМА" на срок... 12 мес. /33.00  
доп./ ...6 мес./18.00  
В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки — 64 дол.

Чек /мони-ордер/ на сумму..... дол. прилагаю.

Газету прошу направлять по адресу:

Имя \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_

Номер дома Улица \_\_\_\_\_ Город \_\_\_\_\_ Штат Зил-код \_\_\_\_\_

# panorama

American  
Russian  
weekly

## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо в окрестности. — 12 долларов.  
М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура  
средневековья и ренессанса. — 36 долларов.  
А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.  
К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.  
Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.  
П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.  
А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири.  
— 10 долларов.  
П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.  
В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против больше-  
виков. — 12 долларов.  
Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Собоньская. — 5 долларов.  
А.РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.  
И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.  
В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов  
В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.  
В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие.  
— 20 долларов.  
В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла.  
— 10 долларов.  
Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей.  
— 9 долларов.

Готовится к печати:

В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Ива-  
нов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.

---

**Григорий СВИРСКИЙ**
**ПРОРЫВ**

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э.Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, чья судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные человеческие драмы, через судьбы героев.

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

**Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:**

**Hermitage Publishers of New Russian Books  
2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104**

---

*БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"*

*ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД*

**СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,**

**ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.**

**КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.**

**ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.**

**КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА**

*Цена книги - 15 долларов.*

*Заказы и чеки высылать по адресу:*

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel.: (201) 592-6155**

**НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТРЕТЬЯ ВОЛНА».**

**МИХАИЛ КРЕПС**

**«ИНТЕРВЬЮ С ПТИЦЕЙ ФЕНИКС»,**

**142 стр.**

Михаил Крепс — один из интереснейших и оригинальнейших поэтов русского Зарубежья. Его стихи печатают все ведущие русскоязычные журналы — «Континент», «Время и мы», «Новый журнал», «Стрелец», альманах «Встречи» и др.

Новый сборник отличается необычностью стиля и свежестью поэтического восприятия. Стихи сборника, весьма неожиданные и новаторские для русской поэтической традиции, вызвали оживленные дискуссии как среди специалистов-стиховедов, так и рядовых любителей поэзии.

**Цена книги — 9 долларов**

Пересылка за счет издательства

Заказы направлять по адресу:

**В Европе:**

Third Wave Publishing House  
Chateau du Moulin de Senlis 91230,  
Montgeron, France

**В США:**

Third Wave Publishing House  
286 Barrow Street, Jersey City,  
NJ 07302, USA

**Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА**

**БОРЬБА В КРЕМЛЕ —**

**ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА**

Вслед за американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов".

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ: ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО  
КРЕМЛЬ — О МИРЕ**

**О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА  
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО  
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО  
ПОХОРОНАМИ**

**ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО  
ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ  
ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ  
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?**

**КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!**

**ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ**

**ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

**ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ**

**БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО**

**ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ**

**КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ**

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We  
409 Highwood Avenue  
Leonia, NJ 07605, USA

---

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

### ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона — автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует широкую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

*КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ — И В СССР, И, В ОСОБЕННОСТИ, ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ.*

*КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ,*

*КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,*

*КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ.*

**Объем книги — 432 страницы. Цена — 22 доллара.**

**Заказы и чеки высылайте по адресу:**

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel.: (201)592-6155**

### Александр Орлов ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

*Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов. Пересылка - 1 доллар.*

*Заказы и чеки посылайте по адресу:*

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel.: (201)592-6155**



**ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1988***УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:*

Стоимость годовой подписки в США — 55 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 60 долларов; для библиотек — 79 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE"

409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605. USA. Tel: (201)592-6155

Цена в розничной продаже — 13 долларов

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала «Время и мы». Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Таппиот, Мизрах, 422/6 (зав. отделением Дора-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции 450 франков; для библиотек — 650; с целью экономической поддержки журнала — 650 франков; — в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 200; с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.

Подписка авиапочтой — 96 долларов.

**ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1988****ПОДПИСНОЙ ТАЛОН**

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на.....год. Высылать с номера.....

Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу

Подпись.....

**Примечание редакции:** чек выписывается по-английски на имя журнала «Время и мы» (Time and We)

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу: **"Time and We"**.

**409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA  
TEL: (201)592-6155**

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605  
(201) 592-6155

Набор, монтаж и подготовка к печати выполнены  
компанией **NAME Advertising Co.**

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**Первая страница обложки выполнена  
художником Вагричем Бахчаняном.**

**На четвертой странице обложки: гобелен Риты Гехт «Ночь»**

